

The background of the cover is a detailed illustration of a dark, moody interior. A spiral staircase with wooden steps and a metal railing winds through the space. In the upper right, a window with multiple panes looks out into the night. A large, ornate pipe or duct runs diagonally across the upper right portion of the image. The overall color palette is dark, with deep blues, greys, and muted greens, creating a sense of mystery and depth.

Марина
Голубицкая

два писателя,
или
КЛЮЧИ
ОТ ЧЕРДАКА

Марина Голубицкая

**Два писателя, или
Ключи от чердака**

«Автор»

2022

Голубицкая М.

Два писателя, или Ключи от чердака / М. Голубицкая — «Автор»,
2022

«Ключи от чердака» — конечно, метафора. Метафора высокого безумия. Те, кто знаком с культурной жизнью Екатеринбурга, легко узнают в персонажах местных художников и поэтов, к тому же некоторые из них (Николай Коляда и Борис Рыжий) выведены в романе под своим именем. Эта книга — отчасти памятник их вере в то, что стихи, как и картины, пишутся кровью. Сюжет разворачивается на детально прописанном фоне конца 90-х — начала нулевых годов, но несмотря на фотографическую точность, перед нами не мемуары, а роман о творческом инстинкте, который способен поразить, как болезнь, превратить обычного человека в раба вечного поиска слова и читательского признания, навсегда спрятать его «ключи от чердака». О радости и унижениях писательства, об амбициях, тщеславии и шутовстве автор повествует с самоиронией — иногда жёстко и аналитично, а иногда очень смешно.

© Голубицкая М., 2022

© Автор, 2022

Содержание

1	5
2	7
3	8
4	9
5	10
6	11
7	12
8	13
9	14
10	15
11	17
12	21
13	23
14	24
15	25
16	27
17	29
18	30
19	32
20	33
21	35
22	36
23	37
24	38
25	41
26	43
27	44
28	46
29	47
30	48
31	50
32	52
33	54
34	55
35	57
36	59
37	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Марина Голубицкая

Два писателя, или Ключи от чердака

А. С. В.

1

Сначала появилась журналистка. Правда, тогда она работала кем-то другим, но сейчас-то я знаю, что она журналистка. Она очень хотела понравиться моему мужу. Свой муж у нее был в Москве, он учился на Высших режиссерских курсах. Своему мужу она помогала. Ей хотелось, чтоб он стал кинорежиссером, и тогда бы ей не пришлось одеваться в платья из бильярдного сукна, списанного в театральном училище. Она бы писала ему сценарии, снималась в фильмах, может быть, даже в главных ролях – все говорили, что она сошла с полотен Модильяни.

У нас были разные весовые категории. Сначала я вообще была беременна, но это никого не смущало. Будущая журналистка жила недалеко, всего-то в трех кварталах, и прибегала к нам, как к соседям по общежитию, то за луком, то за конвертом, хотя и почта, и овощной были поблизости. Лёня радовался: «Проходи, раздевайся». Она скидывала дубленку, застегнутую на две разнокалиберные пуговицы, и оказывалась вполне раздетой – мы могли вдоволь любоваться натурой через редкое плетение пряжи, истерзанной ее творческими исканиями. Этих ниток едва хватило бы на берет, но Фаинкины грациозные пальчики постоянно сплетали дырочки в новом порядке, то полностью оголяя спину, то распределяя обнаженность равномерно по всей верхней части ее невеликого тела. Она всегда что-нибудь приносила: конфетку дочке, журнальчик мужу, мне – новый повод для терзаний и мужниных утешений: «А ты хочешь, чтоб вокруг нас была выжженная земля?»

Однажды она принесла свои тексты, полуслепые машинописные копии. Ее мужу был нужен сценарий для курсовой, моему – вера в собственные таланты. Это и стало причиной частых встреч: мой муж с журналисткой писали сценарий. Мы оставили в МГУ нашу юность, наших друзей и здесь, на уральской почве, пытались отрастить что-то заново. Один друг был любимым и лучшим, он тоже пытался прижиться – далеко, на южном балконе. Из его экстравагантных поступков мой муж с журналисткой и ваяли сюжет, но не могли придумать финал. Фаина уже делала за своего мужа сценарную разработку, считалось, что она понимает в кино и умеет писать.

Первый текст был трогательный, явно женский. О том, как в столовой, в очереди, пропахшей стылým супом, девушка ставит тарелки на грязный поднос и вспоминает маму – в чистой кухне накануне праздника. Мама вынимает из духовки противни с печеньем, противни с коржами для торта, ставит их прямо на пол, заполняя все вокруг печеным и сладким, насыщая квартиру запахами ванили, запахами корицы... Я знала, что мама у журналистки умерла и что она содержит сына-школьника и мужа-студента.

Второй текст удивил меня так, как удивлял обычно лишь друг, которого они заталкивали в свой сценарий. Этот текст был про придуманную рыбку. О том, как она отличается от непридуманной, о ее сказочно-несбыточной жизни. Она может кататься в каретах. Шептаться на балах. Отмечать дни рождения! Текст уводил к какому-то сторожу на даче, был легким, свободным, мастерским, непохожим на перевязанные кофты.

– Как ты меня поразила, Фаинка! Я никак не ожидала, никак... – закудаhtала я при встрече.

– Да? А что? – она, как всегда, разговаривала с зеркалом в прихожей. Разглядывала ламочки на спине, которые только вчера смастерила из тесемки.

– Этот рассказ про рыбку...

– Да? Тебе понравился? – она окинула меня взглядом с головы до ног.

Я уже родила и одевалась в зависимости от прихотей теплоцентрали. Я могла быть в халатике с выдирающимися пуговицами, с жирными пятнами просочившегося молока. А может, в тот день на мне были шерстяные рейтузы, захватанные ручонками в манной каше, рейтузы и байковая рубашка, – Фаина никогда не предупреждала о визитах. Запылали, заалели мои щеки, но я простила ей этот взгляд: придуманной рыбке все позволено.

– Ты такая талантливая! Я не думала... Не ожидала, что ты так можешь.

Она повела бровью, будто дернула губку за уголок, стрельнула глазками:

– Я еще и не то могу...

2

Наш лучший друг разбился насмерть. Не смог, не прижился и спрыгнул с балкона.

Не закрепившись на новой почве, я уже держала два побега, двух маленьких дочек. Мне было трудно, и в минуту отчаяния я срезала свои волосы под корень. Скальп оказался избо- рожден кривыми дорожками, я явила этот ландшафт Фаине и попросила подровнять. Лязгали ножницы в ее трясущихся пальцах:

– Не ожидала, что ты так сможешь.

Склонив голову, я сидела перед ней на табурете.

– Ну что ты. Я еще и не то могу...

В действительности все лихие поступки были исчерпаны, нужно было как-то прирастать. Я купила глубокую шляпку без полей, в стиле тридцатых, и пришла в ней в кинотеатр, где Май- оров, новый Лёнин друг, работал художником. Меня позвали на премьеру курсовой, коротко- метражного фильма – теперь-то история обрела финал. В фойе перед показом собрались все свои и толпились у прилавка, поджидая буфетчицу: Лёня с Фаиной и режиссером, художник Майоров и стареющая поэтесса Эмма Базарова в окружении молодых авторов. Нас предста- вили, меня, как всегда, не заметили, я открыла коробку шоколадных конфет. Мучила жажда, буфетчица все не шла, мне хотелось снять шляпу и обнажить бритую голову.

– Не правда ли, Чмутов божественно красив? – Эмма Базарова кивком указала на стоя- щего рядом юнца, невысокого, щекастого, пухлогубого, с аппетитом жующего конфеты. – А как он талантлив, бог мой, как он талантлив!

Чмутов был *мой*, семитский, тип, но рядом с Лёней он казался просто пупсиком. Талант, наверное, как и красота, решила я, конфетный, приторно-сладкий.

3

Через пару лет вышел номер журнала «Урал», посвященный молодым авторам. Я искала в оглавлении знакомых, нашла Чмутова, прочла рассказ и удивилась: оказывается, он и правда талантлив. Что было в том рассказе про камушек? Да то же, что и в Фаинкином тексте про рыбку, – был стиль, был писатель, остальное не помню. О Чмутове тогда заговорили: он встал на путь воина, ел мухоморы, ходил по морозу раздетым... Однажды я видела из окна трамвая: Чмутов бодро шагал среди сугробов в шортах, румяный как пионер, длинные волосы и крепкие ляжки.

Я заметила в «Урале» еще одну фамилию: Родионов, художник, давний поклонник Фаины. Мне нравился ее портрет, сделанный в несколько мазков, но я не знала, что Родионов пишет прозу! Открыла рассказ и ахнула: «Придуманная рыбка и вообще-то очень отличается от непридуманной...» Да, конечно. Она многое может. Например, придумать себе талант.

4

Теперь он приходит без предупреждения.

– Ирина, это Володя Родионов.

У него совершенно бабий голос. Маленький, задрипанный мужичонка с коричневой хозяйственной сумкой. Из сумки торчат пустые горлышки бутылок, одно горло задраено, это – водка. Диггер лает, я выхожу на площадку, пытаюсь его не пустить:

– Володя, извини, Диггер выбежит, – я жду, что он скажет сколько. Я дам, и он уйдет.

– Ирина, извини, я ненадолго, я только поговорить немного хотел. О литературе хотел поговорить. Мне так нравится Лёнина книжка, она такая светлая...

У него очень светлые глаза. Его не пускает в свой дом Фаина. Она живет одна, сын вырос и уехал в Израиль, муж стал пьяницей с режиссерским дипломом, и они разбежались. Фаинка обманывает Родионова, что «не одна», и не пускает.

– Я ехал так далеко, я хотел подарить тебе книгу, – сказал он ей как-то в дверную щель. – Дай пятьдесят рублей, и мы в расчете.

Фаинка печалилась на другом конце провода, я не понимала, отчего в ее голосе такая безысходность.

– Ирина, но ведь он все оплевал: нашу юность, свое творчество, романтику, в конце концов... Ну почему так-то? Почему?

Я не знала, что ответить, у меня раньше не было пьющих друзей.

В следующий раз он застал ее на выходе. Переспросил: «Тебя позвали на день рождения?»

– Для него это уже как звук из детства. Как игра в ножички, как резиновый мяч... Его-то теперь кто позовет? Я вернулась и отдала ему пустые бутылки.

5

Однажды мы позвали его на день рождения. Он тогда еще не ездил в деревню, нас выселили на капремонт без телефона, Фаинка переехала и потерялась. Это были годы пустых прилавков, но на площади Уралмаша мне попала форель, почти придуманная рыбка, серебристая спинка, черные пятнышки на розовом боку. В морозилке лежал непридуманный толстолобик, распиленный пополам, пучеглазый, огромный, весь в тине. Толстолобик был приговорен к фаршировке, форель на горячее – у друзей-художников был великий пост. Чтобы как-то отделить одну рыбу от другой, я открыла жареные грибы, хранимые с лета, словно экспонат, в стеклянной банке. Про форель я прочитала в «Армянской кухне»: припускать на гальке в белом вине, подавать с соусом из кинзы и грецких орехов. Галька у меня была. Плоская, круглая байкальская галька. За кинзой и орехами пришлось ехать на рынок. Почему на рынке оказались раки? Сколько мужу тогда исполнялось? В голодный талонный год у меня были раки, толстолобик в полстола, жареные грибы и порционная форель в белом вине.

Отчего-то никто не приходил. Мы давно все накрыли и расставили. За окном белело и серело, сыпал майский снег, батареи дышали холодом. Я набрала двушек и побежала вызывать гостей, но телефоны-автоматы, будто нищие, выставляли покореженные диски и оборванные трубки. Я промокла, продрогла, обиделась, а когда вернулась, у нас сидел Родионов. В ожидании остальных мы немножко выпили и перекусили, о литературе мы не говорили, мы разговаривали о супе: у него были серые щеки язвенника, мне хотелось накормить его супом. Он рассказывал, как умирала его мать, он рассказывал мне как своей, но я чувствовала себя сиделкой или нянечкой – я могла его только обхаживать. Он был существом другого мира, бесприютным, одиноким. Казалось, в нем сквозит дыра, дыра, в которую все улетит. Я и не пыталась ее заткнуть, просто дежурила свою смену.

6

У нас наконец появились деньги – муж стал заниматься бизнесом. Он стал заниматься, они стали появляться. Художник Майоров посоветовал Лёне зайти к Родионову: тот продавал картины и кров, комнату в коммуналке, и уезжал в деревню писать роман. Мы взяли с собой все наши деньги – мы впервые шли покупать картины. Выйдя из троллейбуса, переглянулись: зачем отсюда уезжать? Адрес указывал на дом с колоннами – в таких при Сталине селилось *руководство дороги* или *всё заводоуправление*. Когда-то здесь был сквер, теперь же раскинулся полупустырь-полугазон, где летом валялись дворняги, а зимой наметало. Мы продвигались след в след по заснеженной тропинке и успели вдоволь налюбоваться фасадом. И подъезд был приличный, гулкий, и высокие потолки. Все стены в комнате, насколько хватало обоев, были в припиленных записках.

– Что это?

– А, наброски к роману! – Родионов отмахнулся, не рисуясь, как я бы сказала: «Да так, дети баловались».

Ах, как мне это было интересно! Я никогда не писала, я просто читала все детство, я и спрашивать-то боялась, чтоб не ляпнуть: «Ну и что автор хотел сказать?» А может, я и спросила, может, он и ответил, он всегда говорил торопливо, будто темнил, он охотнее жаловался на соседку.

Родионов принес все свои картины, расставил на полу. Горинский достал все свои деньги, разложил на диване. Наши первые деньги. Я к ним даже не прикасалась, относилась точно к мужской причуде, как если бы муж принес пауков и держал их в немытом аквариуме. Родионов показывал картинки, называл цены, Лёня рассматривал, советовался со мной, пересчитывал рубли. Нам хотелось купить сразу несколько, три или хотя бы две. Если две, то похожие, чтоб было ясно, «что художник хотел сказать». Если три, то одну *совсем другую*, чтобы было видно, что художник может еще и так. Две картины выбрали быстро, одинаковые, словно близнецы, – абстрактные, фактурные, темно-серые. Оставалось немного на третью, мне понравился «Слон». Примитивный слон, бордовый на красном, он стоил дешево, был нарисован на фанере. Хозяин пользовался картиной как столом, и на ней отпечатались пятна от стаканов. Чем больше мне нравился слон, тем меньше нравились эти пятна, мы стали искать другой вариант. Художник переставлял картины, покупатель перекладывал деньги, и оба стремились сыграть вничью. Это было похоже на детского «дурака»: карты разложены картинками вверх, и все с азартом ищут лучший выход – «если ты дамой, то я тузом... вот дурак! заходи с девяток». В конце концов мы взяли *совсем другую*, крупноформатную, дорогую, которую будет замечать каждый гость. Оставалось выбрать одного из близнецов. Я поинтересовалась их названиями. «Пейзаж под Питером» и «Рыбка». Нарисованная рыбка! Конечно, мы выбрали ее.

7

Несколько месяцев спустя я привела домой знакомую с английских курсов. Изучив все наши книжные шкафы, все стенки и простенки, Эльвира спросила:

– А это что это за картина?

– Ну... это абстрактная картина.

Я привыкла, что многие злятся: «Ну и что здесь изображено? Что художник хотел сказать?»

– Вижу, что абстрактная, – удивилась гостья, она закончила философский факультет. – А чья эта картина?

– Так, одного местного художника, – отмахнулась я. – Володи Родионова.

– Да знаю я Володю Родионова, прекрасно знаю! Он когда-то так напился у Леры Гордевой, так взбесился! Чуть не порезал Игоря Чмутова, затеял в ножички играть. Чмутов орал на него, зачем ты пинешь кильку – пиши слона! Чмутов сказал, он все бросил, уехал в деревню.

8

Он вернулся через год – без романа, но еще при деньгах. Я третий раз сидела в декрете. Мужа не было дома, но теперь я привыкла. Хорошо хоть Родионов зашел. Он покупал комнатушку в барачном районе, конфликтовал с сестрой, пришел к мужу за консультацией. Про роман сказал, что сжег, уничтожил. Я спросила, зачем вообще уезжал.

– Ехал как-то на поезде, – ответил он, – увидел эту деревню из окна, и так туда захотелось...

– А я с Машей ездила в Красноуфимск за земляникой. Ты не видел, как он выглядит из окна? Это такой городок в чаше леса. Там на станции сквер с чугунной решеткой, как в детстве, с белеными столбиками из кирпича. Нас моя бывшая студентка пригласила. Во дворах клумбы с бархатцами и резедой, в квартире солнце и на окнах воздушный тюль. И пол у них из досок, блестящий, крашеный, как когда-то у мамы. Мясо в супе вкусное. Земляника, рыбалка...

Я кормила Родионова супом, гостеприимно трещала, он не пытался поддержать разговор.

– А потом я приехала без дочки, второй раз, и меня не стали стесняться. Пришли ее тетки, дядя, налепили пельменей, начали пить. И все запоганили, захаркали, засыпали перлом, залили водкой. Кого-то рвало. С утра бутылки пошли сдавать.

Он чуть оживился:

– Там тоже здорово пили!

– И весь город едет в баню к родне. И в автобусе разговоры: «Попировали вчера-то? – «Ну». – «А сейчас париться? Огурцы-то полили?» Володь, почему ты вернулся?

– Так видишь... ты сама все и сказала. А еще там зима. И осень... – он вздыхает как старичок. – И-э-эх!

9

Два года назад я встретила Чмутова в галерее, на выставке пейзажа. Его щеки опали, залегли носогубными складками. Теперь он больше походил на пьющего русского, чем на избалованного еврейского мальчика. Он был в красном пиджаке из подкладочной ткани и в кудлатом парике до самых плеч – Лёня надевал такой в девятом классе, чтоб дразнить завуча по воспитательной работе. Чмутова сопровождал узкоплечий спутник с впалой грудью, донкихотской бородкой и гривой легких мелких кудрей. Спутник был почти на голову выше Чмутова.

Презентация – праздник. Как всякий праздник, она может быть удачной или скучной. Не все зависит от картин. Иногда бывает хорошая музыка, а иногда – слишком высокие каблуки. Люди фланируют, держась за бокалы. Мелькает Фаинка с микрофоном, за ней вышагивает оператор, хмурый мужик в джинсовой курточке. Фаиночка выбирает героя, заводит разговор на фоне картин, властно кивает оператору: «Работаем!» Она по-прежнему напоминает моделей с полотен Модильяни: изысканная шейка, острый локоток. Микрофон тяжеловат для ее хрупкой кисти, но она грациозно держит спину, запрокидывает голову, будто вопрос таится на острие подбородка... Чего тебе надобно, старче? Она выпячивает свои богатые губы, собирает их в трубочку, как нарисованная рыбка, маленький знак вопроса на гребне волны. Кто-то отвечал интересно и густо, кто-то – тараша глаза и топорща усы. Всплеск хвоста – и всех смывало волной. В передаче бушевали спецэффекты и всепоглощающая ирония журналистки.

На презентации говорились речи, в меру длинные, в меру интересные. В этот раз дали слово Чмутову. Многих когда-то удивлял Чмутов – в этот раз пронзило меня. Он начал вкрадчиво о лоне матушки-земли, о зарослях леса. О том, что спутники летают, камеры снимают, нам кажется, что все на виду, все измерено, изучено, сосчитано, а лес-то э-э-э! живет себе, растут себе грибочки, ползут букашки, дышат травиночки. Он сверкал очами в огромных глазницах, и теперь, в отсутствие щек, я их разглядела. Он менял регистры от баритона до женского взвизгивания, дурачился, обрубая глаголы: «бывает, кто знает». Он искусно колдовал над словами, сминал их, разрывал на кусочки, перемешивал и вновь разворачивал целехонькими. Вдруг выхватывал одно-единственное слово, дивился, цокал языком и крутил, вертел его, обкапывал. Меня всегда пленяли фокусники, знающие природу слов.

– Ирина, здравствуй! Что ты пьешь? А почему бокал пустой? – подходили знакомые.

Я избавлялась от рюмки. Это вызывало беспокойство.

– Где твой бокал? Что тебе налить?

Я видела, Лёня разговаривал с Чмутовым, но не стала к ним приближаться, походила по залам, а дома разворчалась на Машу: «Ну и зачем ты сбежала на курсы? Что вы там проходили? Онегина? Лучше б ты послушала Чмутова, он настоящий писатель, ей-богу, было бы больше пользы!» Я поинтересовалась у Лёни, о чем они говорили. Да так, ответил он, вспоминали, как Чмутов в пединституте сдавал мне зачет по праву. И еще он просил книжку спонсировать.

– Ну конечно!.. А ты?

– Что я? Я пообещал, Майоров же дал ему картинку.

Мне показалось, Лёня ревнует: Лёня готовил к печати свой первый сборник стихов, и Майоров рисовал для него обложку.

10

Со средней дочкой у меня проблемы. С той самой, сидя с которой в декрете я стриглась наголо. Она пишет стихи и прозу, отворачивает будильник циферблатом к стене и не интересуется оценками. Ее серые глаза от восторга становятся голубыми, а я не вижу в ее школьных тетрадках повода для восторга. Жена Майорова, Марина, присоветовала нам новую школу, где учатся в первом классе их Ромка и чмутовский старший сын. Там не проходят правила русского, не ставят оценки и сочиняют под музыку стихи. Там, на неведомых дорожках... директором тот, донкихотистый, а Чмутов преподает английский.

Мы уже многое перепробовали и решили, что хуже не будет. Я отправилась с дочерью на смотрины. В седьмой класс. В середине учебного года.

Мы попали как раз на английский. Директор снимал урок на видео. Коллеги из Нижнего Тагила сидели в норковых шапках у стены и перенимали опыт. Чмутов зашел ленивой походочкой, сигарета за ухом, на лбу хайратник. На доске красовался скабрёзный стишок, сочиненный Чмутовым накануне. В стихе обыгрывалась двусмысленная фамилия директора и употреблялись разные времена английских глаголов. Чмутов говорил нараспев, врасстяжечку, поводя глазами. Глаза бликовали, как елочные шары, в глазах блестело предвкушение веселья. Урок был импровизацией: директору хотелось разобраться в сложных английских временах – одновременно с детьми, за время урока, желательно раз и навсегда. И *продемонстрировать процесс понимания*. Директор бегал по классу, пытаясь одолеть будущее в прошедшем, тербил бородку, кивал, перебивал, вновь бросался к доске и не догадывался, о чем стишок. Он не знал ключевое слово.

Я сидела рядом с Мариной Майоровой. Марина все аккуратно записывала, она специально ходит к Чмутову на английский. Шевельнулась зависть в моей душе: сколько уже записано, сколько она всего знает! Марина шепотом объяснила, что Чмутов на прошлом уроке дал названия всех частей тела (показала картинку и подписи), и теперь дети называют директора «мистер Пьюбис». Стишок они уже разбирали, но мистер Пьюбис об этом не знает, Чмутов подставляет его при гостях. Это розыгрыш.

Марина – редкая женщина. Во-первых, она удивительно красива. Во-вторых, так молода, что хочется считать ее девочкой. В-третьих, она скромна и целомудренна. Майоров дома все дни напролет рисует, а она читает ему вслух. Читает и прозу, и поэзию, а стихи моего Лёни Марина учит наизусть, и никто их столько не выучил, даже сам автор. Я думаю: в какой век ее поместить и в какую профессию? И скатываюсь к киношной банальности – молодая католическая монахиня редкой красоты. Мне не нравилась чмутовская шутка про пиписечки, такие шутки смешили меня в пять лет. Но строгая шейка Марины, ее стоячий воротничок, блокнот и руки прилежной ученицы... Это английский. Это просто английский. Пусть будет стыдно тому, кто об этом дурно подумает.

К концу урока Мистер Пьюбис догадался, о чем речь, и стал выкручиваться как умел – завел речь про Урана и Гею, отрезанные гениталии и оплодотворение Земли. Потрясая томом энциклопедии, бормотал про секс и духовность:

– И когда у девочек уже начались менструации, а у мальчиков поллюции...

Прозвенел звонок, и подростки ринулись вон из класса – на перемену. Мы с Мариной остались на месте, Чмутов закружил рядом.

– Ну, что, матушка? Вот ведь как бывает.

– Нам звонила твоя знакомая. Эта модель, – упрекнула Марина.

Он кивнул с довольным видом.

– Красивая девка. Ты никак ревнуешь?

Марина дернула плечиком. Чмутов встрепенулся.

– Маринушка, ты какой год замужем? Давно пора друг другу-то изменять.

– Ну, тут мы не найдем общий язык, – она уверенно улыбнулась.

Чмутов поскущел и ушел курить.

Второй час был гораздо интереснее. Учитель кланялся в пояс, махал руками и стучал указкой. Говорил он только на английском, объяснял происхождение слов, заставлял искать рифмы, синонимы, подбирать звуковые ассоциации. В радости хлопал себя по лбу, в отчаянии опрокидывал стулья. Знакомил с каждым новым словом, давал с ним подружиться, подергать за хвост и поссориться. Теперь я завидовала детям. Я хотела бы так учить язык или чтобы дочь моя так учила. Бог с ними, с шутками про мистера Пьюбиса.

– Ну что, – спросила я у своей Зойки по окончании представления, – будем переходить? Она замешкалась.

– Надо еще посмотреть.

– Конечно, конечно, – замахал руками директор, – приходите, смотрите сколько хочется.

Я поняла, что он любит, когда смотрят. Мимо проплывал Чмутов, остановился рядом с Мариной, провел ладонью по волосам, скосил глаза и произнес грудным голосом, перевоплощаясь в гогеновскую таитянку:

– А, ты ревнуешь...

11

И мне вдруг захотелось быть на месте Марины. Захотелось своих отношений с этим похабником из пионерского лагеря. Чтобы можно было болтать о чем угодно, забегать на запретную территорию, дразнить друг друга, обижать и осаживать. Чтоб в родительский день неожиданно покраснеть: «Вот этот, этот – наш горнист». А потом терзаться, грустить в темноте, выбирать его в «ручеек» и пропускать белый танец. И прощаться – на костре! – и обмениваться адресами. «Мама, я взяла его адрес». В десять лет с мамой так легко! «Зачем?» Соврать, если не понимает: «Напишу письмо». Да, мама, низачем, а чтоб *взять у него адрес!* Чтоб екнуло в груди, чтоб перед сном улыбаться и чтобы было это *низачем не нужно*. Чтобы сейчас, тридцать лет спустя, достать в памяти из-под стопки тетрадей и книг мятую бумажку: «Коммунистическая, 218, кв. 3...»

Следующий день был моим днем рождения. Я забежала в институт, приняла экзамен у двоечников, потом поехала к Зое и опять попала на английский.

– Простите, – чинно обратился ко мне Чмутов, – вы второй день здесь присутствуете, вы тоже английский преподаете или...

Он говорил спокойно, не интонируя, как человек, умеющий обращаться с дамой в пиджаке.

– Нет-нет, моя дочь собирается в эту школу. Мы приглядываемся.

– А, пожалуйста-пожалуйста.

После урока он быстро вышел, тут же вернулся и упал передо мной на колени.

– Извини, матушка, не признал! Ты, оказывается, Лёнюшки Горинского жена, – он поднес к губам мою руку, поднял брови, завел ко лбу глаза, он прямо-таки вылез из своих глаз, заглядывая в мои! – Лёнюшка-то мне с книжкой помог, я ему в предисловии благодарность отписал. Книжка выйдет, так подпишу, подарю, – он поднялся с колен. – Чудеса, да, Иринushка?

– У меня сегодня день рождения.

– Поздравляю, матушка, поздравляю, – он говорил мягко, густо, обволакивая.

В коридор выбежали первоклассники. Чмутов пошел собирать сына. Я заглянула к ним в раздевалку:

– Говоришь, я Лёнюшки Горинского жена? А еще-то я кто?

– Хочешь, чтоб узнал? – он глянул сухо, серьезно.

– Да, хочу.

– Ну ладно. Еще спознаемся.

Через пять минут за нами заехал Лёня. Вслед выскочил мистер Дон Кихот:

– Как, уже уходите?

– Да, у меня сегодня день рождения.

– И вы потратили его, чтоб наблюдать наше безобразие? Вам понравилось? Вы слышали Танины стихи?

Зоя с Лёней уже сели в машину, я топчусь рядом, Пьюбис, ссутулившись, жестикулирует на крыльце и кажется мне гигантским морским коньком.

– А про свободу, про философию шуки, вы заметили этот подтекст? – он подносит к глазам длинные гибкие пальцы, откидывает назад свою легкую гриву, томно шурится. – Вы почувствуйте, как это тонко: чтобы шука исполняла желания, ее надо отпустить. Гениально!..

Я киваю, уношусь мыслями и вспоминаю, как в последний раз фаршировала рыбу. С головой в магазинах была только мойва – я скрестила рыночную шуку с безголовым магазинным судаком, а гостям предлагала выбрать, какое имя больше подходит гибриду – шу-дак или су-ка?

– ...Гениально!

Теперь мы не собираемся дома, одной готовить неинтересно, а Лёня... Позавчера он спросил, перекивая свой утренний фен:

– Так ты решила что-то по пятнице?!

– По какой еще пятнице?!

– У тебя же в пятницу день рождения?!

Я обиженно промолчала. И вот подарок – он бросил свои дела.

– А поехали в «Таинственный остров»?

«Таинственный остров» открылся недавно, это модно и дорого, там должны быть аттракционы – это *место для всей семьи*. Мне хочется позвать гостей. Мы заезжаем за Лёлей в садик, отменяем Машины курсы, звоним Майорову: «Бери Рому с Мариной». Он отказывается – как всегда! Я выхватываю у Лёни трубку:

– Андрей, ну что тебе стоит! Там хорошая кухня и детский боулинг!

– Ирин, считай, что у меня социофобия. Я ботинок своих в чужой прихожей стесняюсь.

– Там не надо снимать ботинки, Андрей! Сорвись спонтанно, хоть раз сорвись!

– У меня только-только башка прошла, я картинку начал рисовать, три вечера подряд субфебрильная температура...

Это все. Субфебрильная температура Майорова – приговор любому празднику.

Подъехав, мы с силой дергаем дверные ручки, с недоверием читаем вывеску и убеждаемся, что сегодня днем «Таинственный остров» закрыт. Я посылаю Лёне взгляд *стоило ли так упрашивать Майорова*. Лёлька хнычет, мы отправляемся в помпезный «Белый пароход», у нас есть единственный гость – водитель Толик.

В огромном зале с позолоченной лепниной нет никого, лишь пальмы и попугаи. Толик, не притрагиваясь к меню, бросает Лёне: «Как всегда». Зоя с Лёлей вопросительно смотрят на папу. Когда появляется официант, наша Машенька, претендентка на золотую медаль, не успевает изучить даже список закусок в увесистом фолианте. Толик тычет пальцем в лощеный лист:

– Вот эту рыбу, фиш по-еврейски, я ел у Вовки на свадьбе, только с яйцом, внутри крутое яйцо. Я ем и думаю, ну как же щука яйцо заглотила? Вот ведь пень!..

Он обводит нас взглядом, кивает, взмахивает руками, как дирижер. Правой, криво сросшейся после аварии, выписывает затейливые петли.

– Мне мужик на парковке сказал: «Толик, у тебя теперь рука, как лицо у Фредди Крюгера».

Наш водитель столкнулся с лосем на дороге, перенес несколько операций, полтора года ходил с аппаратом Илизарова. Исполнив вступление, он привычно солирует.

– Я когда в таксопарке работал, денег было как грязи. Печатка на пальце, джинсы и с €або. Таких с€або в городе вообще не было ну ни у кого! А потом их украли. Мне их так жалко было, ну очень мне их было жаль... – он будто и вправду расстроен: – О чем я думал, девчонки, я сейчас просто не понимаю, о чем я думал?! Все вещи по друзьям растерял. Мне ж ночевать было негде! Шел и не знал, где я сегодня ночую. Мамка, как приеду домой, грибов с собой даст, рыжиков соленых, маслят маринованных, а я все спорчу! Ну кто я был? Солома прелая! Залил бы подсолнечным. Мамка горбатилась, собирала...

Мы осторожно пьем холодные соки, долго ждем, пока подадут закуски, испуганно поглощаем дорогую еду. Шутим вполголоса, за окнами тихо – пруд во льду и морозный белый день.

– Ирин, прикинь, здесь было первое варьете! Ты же тогда уже была в Свердловске, нет?

Прикидываю: да, уже была – с грудной Машей, мне было не до варьете.

– Ну что мы видели раньше? А я с армии. И деньги были. Ужинал. Короче говоря, я стул поставил вон там, – он жуёт и тычет в пространство вилок с наколотым масленком, – вон там, в проходе, чтоб лучше видеть. А девчонка, танцовщица, со сцены прыгнула и в зал как

помчится... У нее по танцу такой пробег. Прямо на меня. Я растерялся, а она – раз! – и ногу подняла. Махнула ногой вот так! – Толик машет кривой рукой, масленок срывается с вилки, – и дальше побежала. Я сам не свой три дня ходил, глаза закрою, и так мне хорошо... А даже и глаз закрывать не надо!.. Потом у меня была тут одна, из кордебалета, сменщикова любовница. Сменщик просит: «Толик, прикрой» – и жене свистит: «Лида с Толиком! Я чист, как мытая посуда!» Она даже удивилась: «Я думала, Толик, ты еще мальчик». Короче говоря, стали мы с этой Лидой. Она мне рассказывала. Как она с тем артистом, как с этим. С Джигарханяном как. А у нее с красотой все в порядке, и с ростом ну просто очень все в порядке, под ней нога, как белый гриб, – он снова машет вилкой, – мне поначалу было даже не по себе. А потом говорит: «Толик, давай поженимся. Родители квартиру мне купят». Я думаю, ну как я буду на ней жениться? А ребята обрадовались: «А че, Толик, правда, ты женись, мы все с ней спать будем!»

Лёля с Зоей жмутся к клетке с попугаями. Толик просит официанта: «Слышь, друг, сделай музыку». Приносят магнитола, мы танцуем, я, Лёня, Маша и Толик, то парами, то в кружок, я очень стараюсь развеселиться. Мне не хватает огня, не хватает гостей, заинтересованных глаз, не хватает шампанского, мне нельзя пить – я лечусь у гомеопата.

– Мама, учись! – врывается Зойка, показывает движения. К ним бы длинные ноги – как раз такие, как у нее. Я не могу повторить за Зойкой, я не люблю сумерки, Лёня не любит быстрых танцев. Мы выходим. Толик запекает:

– Мы, шофера третьего класса! – и выкручивает по синусоиде. – А поехали смотреть, как взлетают самолеты?

Я думала, это шутка, но Толик мчит в аэропорт. Как это Лёнька согласился? Темнота, огоньки, заснеженные елки. Я сижу впереди. Настроение – будто куда-то улетаешь. Я и правда улетаю через два дня. Толик травит свои байки:

– Два раза чуть не женился, два раза мне родители денег на свадьбу давали! Я не женюсь, а они мне ни слова. Будто так и надо. А я с армии пришел, был такой романтичный. Ну, целовался направо – это да, мать говорит, когда ты женишься наконец, уже весь до ногтей истрепался! – Толик, оборачивается назад, бросает руль, я пугаюсь. – Да у меня ничего как бы и не было. Я мог с девчонкой даже спать, а ничего не было! Только с одной... Я уходил – мальчик-колокольчик, пальто клетчатое, женские боты на каблуках, это ж так модно было, помнишь? А у меня нога как раз маленькая. Думал, ждала меня два года, а оказалось, вовсе и не ждала, мне девки потом сказали, подружки ее...

Сзади не слышат: им тесно и жарко, младшие в шубах, а у Лёнечки габариты. Зоя с Лёлькой ссорятся и дерутся.

– ...короче говоря, стюардесса узнала и студентке кольцом губу пробила, перстнем с аметистом, у нее до сих пор вот тут шрамчик, я на Пасху видал... А я и эту любил, и другая мне нравилась, другая сама меня ну очень любила!

– Сколько их было-то?

– Ирин, ну зачем мне считать? Никогда я не считал. И примерно не знаю, ну честное слово.

Он огибает аэропорт, останавливается.

Маша заметила вблизи самолетик, но мы не знаем, будет ли он взлетать. И вдруг видим: поехал, поехал... Замолкаем, следим, затихаем – шестиглавою кошкой в двенадцать глаз... Стоп, стоит. Вроде пошевелился. Давай, лети! Но он развернулся. Куда ты? Куда-а-а?! Он стремительно разбежался и улетел прочь и в ночь.

– Дядя То-о-оля, вы говорили, они над машиной взлетают!

– Ну откуда я знаю, раньше здесь взлетали... Девчонки визжали неимоверно. Визжали просто со страшной силой!

Лёне не терпится:

– Але, девушка, сейчас самолет куда улетел? На Кишинев? А следующий во сколько, не подскажете? Вот спасибо... Следующий на Иркутск, – объявляет Лёня, будто это имеет значение. Зоя воодушевляется.

– Где Иркутск? Мама, не делай такие глаза! Где Иркутск? Он полетит в другую сторону? Поворачиваюсь в недоумении:

– Лёнька! Ну почему они тебе отвечают? Я вечно звоню-звоню, а они «тяф!» и бросят трубку. И дозвонился ты в момент!

– Мама, глупенькая, мы же рядом, – встревает Лёлька. Лёня подмигивает.

– Ты не то спрашиваешь. Слышала, как надо? Куда улетел? Когда следующий...

– А-а-а-а-а!!! А-а-а-а-а!!! А-а-а-а-а!!!

Мы кричим, спасая перепонки. Он пролетел прямо над машиной – было видно все брюхо! Это было... это было даже неприлично. Подкрался откуда-то сзади и промчался ровнехонько над нами, были видны и шасси, и хвост, и подхвостье, и какие-то отверстия... И этот грохот! Нас тряхнуло. Но он не взмыл – он сел и покатился.

– Дядя Толя, здесь садятся самолеты! Здесь садятся, садятся! Не взлетают!!!

12

Перед сном мне позвонил Чмутов.

– Иринushка, я тебя снова поздравляю. Я вспомнил, ты же математик, ты окончила МГУ! – он наверняка спросил у Майорова. – Математик – это хорошо... У меня про числа есть текст в «Урале». Славный текст, на него был отзыв в «Новом мире».

– Дашь почитать? – я тут же сделала стойку.

– Конечно, дам. Правда, для математика столь высокого ранга... – он сразу признал мои козыри. – А сколько тебе исполнилось?

– Не скажу. Очень много, – мне не хотелось его отпугивать.

– Сколько все-таки?

– Сорок.

– Подумаешь. И жене моей сорок. Значит, ты Водолей. А по году...

– Я соврала. Сорок два на самом деле.

– Господи, Иринushка, кто знат, о чем женщина думат! А я со всякими женщинами дружу. И пятидесяти, и шестидесяти лет...

Я вспомнила, как впервые увидела его – в свите немолодой поэтессы. Хорошо, что он сказал *дружу*, а не *у меня были женщины*.

Назавтра он передал мне текст про числа. *Допустим, у меня было тринадцать женщин*, тут же вычитала я, столько-то блондинок, столько-то брюнеток, шатенок и одна рыжая (с рыжей, его первой женой, я была знакома). Через остальной текст пришлось продираться. Это была затянувшаяся медитация над числами, рефлексия по поводу ощущений, понятных всякому, кто погружался в мир формул. Кто рвался вперед – так, что трещали извилины, кто чувствовал, как нарастает сопротивление, и замедлялся, подтягивал снаряжение, осторожно двигался наугад, покрасневшими глазами замечая потайные приметы: сочетания крючков на бумаге и загадочные знаки повседневной, повсенощной жизни. Когда уже и отсвет лампы, и партнер в постели кажутся символами, когда голова гудит, словно болит, словно думает, а не больно, и мыслей нет, и ни на минуту нет расслабления, и, кажется, уже сходишь с ума, но вдруг всплываешь, хватаешь зрачками солнце, а в руке бьет хвостом золотая рыбка. Чмутов был заморожен числами, он набрел на кольцо вычетов по модулю девять, но не знал этого, и кружил, кружил, приписывая девятке мистические свойства, обнаруживая скрытый смысл то в сроках вынашивания младенца, то в экстремальных штормовых баллах. Поначалу текст был упругим и сильным, искрил энергией, но к концу стал аморфным и вялым, растекся медузой на песке.

Когда-то я и сама *попала в девятку*. Мучаясь с Зойкой над таблицей умножения, вдруг увидела, что на девять можно умножать на пальцах. Я даже подпрыгнула, когда это увидела! Я просто гений! Мне захотелось просветить весь мир. Но, еще радуясь, начала осознавать, что мой метод должен быть давно известен – за тыщи-то лет существования математики! Он почему-то не встречался мне в детстве... Через полгода он мне встретился – в Зойкиной «Развивающей тетради».

Я подошла в школе к Чмутову, чтоб объяснить про кольцо вычетов. Он отмахнулся, мол, числа – пройденный этап, но девятка, конечно, девятка да! девятка – мистический символ.

– Игорь, хочешь, покажу свое открытие?

– Как не хотеть, ласточка.

Мы стояли с ним у окна. Я растопырила пальцы на подоконнике, *элитный ногтевой дизайн в честь дня рождения*. Вдруг застеснялась:

– Лак яркий, мешает.

– Да я к ногтям равнодушен, Иринushка. Валяй, показывай, не стесняйся.

– Лучше давай на твоих. Загибай любой палец. Номер пальца – это число, на которое ты хочешь умножить.

Но он не хотел умножать, он боялся.

Через день я улетела в Москву.

13

Я разыскала в Москве дочку друга, который шагнул с балкона. Когда-то мы жили в общежитии на Ленинских горах, мне было двадцать три, ей четыре, Женя каталась по коридорам МГУ на трехколесном велосипеде, с неизменно вышагивающим за спиной папой Гошей, и казалась мне большой избалованной девочкой. Однажды весной мы с Лёней водили ее в зоопарк, цвели яблони, Женя собирала лепестки, подбрасывала и кружилась, Лёня снимал ее на кинокамеру. Мила смеялась: «Потом будем смотреть кино и вспоминать, как у Горинских не было детей и они брали напрокат нашу Женечку».

Теперь Женя мыкалась в Москве, без прописки, и собиралась к маме в Израиль на ПМЖ. Было жаль, что она уезжает. Мы договорились встретиться в Пушкинском на выставке. Подъехав к музею, я отправилась занимать очередь, подошла к девушке в белой шапочке на темных волосах: «Вы последняя?» Она обернулась, мы узнали друг друга в тот же миг. Не знаю, кого увидела Женя, – передо мной стояла все та же девочка с мягкими карими глазами, точеным профилем и смуглыми щеками. Когда-то в детстве она заметно преобразилась – оттого что сменились молочные зубки и два верхних выросли крупными, как у зайца. Но то ли зубки с годами выровнялись, то ли Женя сама выросла вокруг них – она показалась мне точно такой же, как в то время, когда мне, а не ей было двадцать три года.

Тогда я относилась к ней прохладно, берегла свои чувства, еще не зная, что любовь к детям разрастается, как сорняк. Подшучивала над красавицей и умницей, уверяла, что люблю взрослых больше, чем детей, и *не делала ребенку никаких скидок*. Сейчас я испытывала к ней такую нежность, что боялась ее показать. Я помнила, как рядом с Милой появился Гоша, как начал круглиться Милкин живот, я даже видела запись в журнале у гинеколога: «Женщина выписана рожать в Николаев». Потом я приходила смотреть, как в тесной комнатке пеленают ребенка. Гоша сидел тут же, с журналом «Наука и жизнь» на краю стола, вырезал многогранники из бумаги, октаэдры, додекаэдры, складывал их, склеивал, развешивал под потолком – на ниточках, как новогодние снежинки...

Мне не хватало отца за спиной у Жени, не хватало его озорства и чудачеств, его бумажных многогранников. Женя казалась зверьком, которого страшно спугнуть, а он легко идет в руки. Ей приходилось долго ехать после работы, далеко возвращаться в свое общежитие, но она охотно приходила на встречи, заранее на все соглашаясь.

– Женя, что тебе заказать?

– Так ведь я вегетарианка.

– А рыбу?

– Нет-нет, только овощи.

Мне даже накормить ее не удавалось!

– А ты помнишь, как я к тебе придиралась?

– За что это вы ко мне придирались? – недоверчиво улыбается. Раньше она звала меня на «ты».

– Как за что – ведь мой Лёнька был влюблен в Милу! И конечно же, все отрицал. Он писал ей стихи, а мне врал, что это просто поэзия, ничего больше. Я старалась хоть как-то ее уколоть, она только смеялась, легко ей было смеяться! Но ты была ее слабым местом.

– Мама мне часто звонит, разговаривает подолгу, а соседки не понимают. Лучше бы, говорят, она эти деньги тебе прислала. – Женя будто не слышала моих слов. Она поднимает глаза, блеснув догадкой: – Вы, наверное, еще дольше можете разговаривать?

– Конечно, могу! Был бы собеседник, – невольно вспоминаю Чмутова и краснею. – Давай выпьем за твою маму.

Я нарушаю режим, пью вино, итальянское, солнечное. В груди разливается тепло.

14

– Женя приехала с нами как гость, а мы на ПМЖ. Я не верила, что она не останется. Но Женя вернулась в Москву, у нее там мальчик.

Мы гуляли с Милой по Кейсарии, пили кофе среди пальм и развалин. Морской ветерок сдувал пену с капучино, Мила прищуривала глаз – точь-в-точь как в Лёниных стихах. Вся семья Милы после Гошиной гибели переехала в Израиль: она сама, пожилые родители и младшая дочка Дина. Вот уж кто оказался похожим на Гошу, так это младшая дочка, озорная девочка Дина. Дина осталась без отца в полтора года, а откалывала такие штучки, на которые только он был способен. В последний день в Тель-Авиве мы попрощались с ней, как со всеми, на выходе из квартиры, обнялись и расцеловались, спустились в лифте на несколько этажей, а когда двери разъехались, довольная Дина стояла перед нами. Запыхавшаяся, босая... Словно привет от Гошки.

15

Я отогрелась в кафе, чуть захмелела, встать не хочется, и у Жени порозовели щеки. Официант зажигает свечи, нас обволакивает покоем, я говорю почти не думая.

– А я слышала, что ты не хотела уезжать, что у тебя был мальчик.

Она легко соглашается.

– Был.

– Тебе не предлагали аспирантуру?

– Предлагали. Я не хочу. Не хочу заниматься наукой.

– Надо же... Нам казалось, что наука – это самое главное. Что это круто, как сейчас говорят. Гошу мы вообще считали гением, он сделал открытие, ты, наверное, знаешь, он занимался теорией катастроф. Я, если б могла, всю жизнь бы училась. А уж на структурной лингвистике!.. Тебе что, там не нравилось?

– Так работать же негде. Я хотела в Москву, мне все тут родное, меня взяли методистом в деканат. Даже не знаю, сколько платят, если честно. Я переводами зарабатываю. Хорошо хоть общежитие есть.

Господи, как же стыдно. Лёня, наверное, мог бы помочь. Наверное, мог бы устроить... Мне все же хочется угостить ребенка. В переходе метро покупаю неприлично дорогие билеты на *Первый Московский мюзикл*, но мюзикл оказывается без музыки для мюзикла. Пляшут одни, поют другие, хороша только Гурченко. Как же нелепо, что я привела сюда молодую девчонку! Я не даю Жене в руки билеты, чтобы соседки ей не сказали: лучше б она тебе эти деньги отдала. В заключительной сцене главный герой собирается прыгнуть с балкона. Демонстративно машет руками и ногами над перилами, под музыку, – наверное, это должно быть смешно. Я, боясь повернуться в сторону Жени, слежу за ней краешком глаза, мысленно строю вокруг нее защитный купол, убеждаю себя не терзаться – не живет же она с открытой раной! Наверное, даже не вспомнила тот балкон. После спектакля предлагаю:

– Хочешь, сходим в МГУ?

Удивляется.

– Вы хотите?

– Конечно хочу – в общежитие. Завтра. Ты была там?

– Ни разу. Я не помню номер комнаты, где мы жили. Только картинку на двери.

Мне даже помнить не надо! В моем паспорте два соседних штампа, свердловский теперешний и старый московский: «Паспорт прописан... комната №...» Но я бы и так не забыла. Я жила ровно под ними.

В МГУ мы выбираемся к вечеру. Горит свет в опустевших аудиториях. Скучают формулы, не стертые с доски. Вместе с Женей идем по переходу в жилую зону. Здесь выщерблен паркет и обшарпаны стены – ветшает портал в нашу прошлую жизнь. *Переход*. Этого я не ожидала. Этот запах... У меня просто обрываются кишки. Смесь паркетной мастики с клопомом, жареной картошки, окурков в мусоропроводе. Почему не изменился запах?! Все внутренности мои тихо обмерли, растерялся весь организм. Эти мирные лампочки под потолком – с неизменно ровным светом. Эти ковровые дорожки. Эти строгие дубовые двери... Телефонные будки – тоже дубовые.

– Женя, помнишь свой конфуз в этой будке?

– Не очень.

– Совсем не помнишь?! Как вас поймали с Ашотом? Вы же были такой изысканной парой! Дети аспирантов из МГУ, пятилетние вундеркиндики. Мила с Кариной собрались в музыкалку, взяли скрипочки, пошли вас искать и нашли тут, в будке! Ты бы только их видела! Ты же видела – неужели не помнишь?! Они так клокотали! Каждой хотелось вцепиться в дру-

гую. Каждой казалось, что это другой ребенок вовлек ее чадо в разврат. Но они чинно разошлись. Очень чинно. Ты объяснила: «Мы играли в письки». А что вы делали, Женя?

– Я не помню, ну правда не помню, что мы там делали с Ашотом. Смотрите, кухня!

Кто-то снова вытряхнул в мойку заварку. Часть горелок опять не работает. И тот же закат над Москвой. И та же высота – мы к ней так привыкли...

– Этот вид из окна я помню.

– Правда помнишь? И картинку найдешь? Идем?

Ни одного человека не встретилось, точно во сне. Полумрак, тишина. *Коридор общежитский, бульдог на двери, охраняющий наши невстречи...* Я упрекала Лёньку за эти невстречи, но ведь теперь мне не избавиться от его строчек. *Я люблю тебя, повторяю, я люблю, себя проверяю, сколько книг прошло, сколько лет!* Раньше бы мучилась: кого люблю – Милу, Гошу, Москву или все-таки меня? Теперь не хочется спрашивать. Да все люблю! Все эти двери. Университет. Эту девочку. Свою юность. Неужели мы были *так* молоды?

– Вот, Женя, ваша дверь.

– А где же *моя собака*?

Я тоже ее не сразу увидела, эту стареющую переводную картинку, хотя только ради нее сюда и пришла. Она въелась в дверь, стала будто родная. Рыжий бульдог в круглой рамочке, благородный, потемневший. Затаился среди естественных линий дерева, среди узоров, которые глаз превращает в рисунки.

– Женя, ты не там ищешь. Он был выше?

– Он был так высоко! Надо же, моя собака.

Стучу в дверь. Никто не открывает. Зачем-то стучу еще раз. Останавливаю девушку в коридоре.

– Можно к вам заглянуть? Мы когда-то здесь жили.

Мы когда-то здесь жили. Тот же шкаф, тот же подоконник. Занавески в душе меняли в год Олимпиады. Но теперь у них свой компьютер. И микроволновка.

– Женя, ну как?

– Что «как»? Здесь же был мой дом.

16

В Геликон-опере небольшого размера зал. На «Кофейной кантате» вместо зрительских кресел в зале ставят столики, и мест становится ничтожно мало – мы с Женей об этом не знали, встречались перед самым началом, билетов не было. Мне пришлось применять студенческие навыки: вежливо просить, уверенно проходить, деликатно предлагать деньги, чтобы потом как-то вдруг, бесплатно и невзначай, просочиться вдвоем и даже попасть за столик. Я гордо бросила Жене: «Учись!» – понимая: она никогда не станет учиться этому, она предпочтет тихое отступление, как моя Маша.

На «Кофейной» наслаждались шутивым пением. Бах под чашечку кофе. Тенор, бас и сопрано... Право фройляйн и фрау на модный напиток в опасности!!! Кантата исполнялась всего полчаса, и на выходе зрители, заплатившие за билеты, возмущались их неоправданной дороговизной.

Сегодня дают «Мазепу». Билеты я покупала на бегу, не заглянув в афишу. Все что угодно может оказаться всем чем угодно.

– Женя, что это за спектакль, ты не в курсе?

– Кажется, Чайковский.

– Значит, Пушкин. Знаешь поэму?

Мы поднимаемся по Моховой.

– Совсем немного. Отрывок про Бородино.

– Ты шутишь, Женя?! – я останавливаюсь. – Это же Лермонтов!

– Нет, это из «Полтавы».

У меня подгибаются колени.

– Же-е-еня! – перехожу на стон.

А я еще Машу ругаю! Необъятное не обнимешь, и наши дети обнимаются с чем-то другим. Да и правда, зачем ей в Израиле наши битвы?

После спектакля идем пешком до Пушкинской, болтаем о видеофильмах, я хочу назвать любимые, но внутри все еще звучит Чайковский, и ничего не вспоминается. Словно затмение. Меня озаряет: «Полное затмение»!!! Это шокирующий фильм, сказал Лёня. Да, наверное, два мужика в постели, два поэта, голый Верлен во весь экран с длинным вялым членом. Осторожно подкрадываюсь:

– Есть фильм с Ди Каприо. Про Рембо и Верлена...

– «Полное затмение»? Любимый мой фильм! Я смотрела на французском, без перевода.

Слава богу, и бог с ней, с Полтавой. Пора прощаться. Женя на выходные едет к бабушке с дедушкой, *Гошиным родителям*, мы больше не увидимся.

Решаюсь:

– Жень, мне хочется тебе сказать... Гоша был удивительным человеком. Мне повезло, что я его знала.

– Вы мне тоже ужасно понравились.

– Но я скучная на самом деле. Если волшебник вдруг прилетит, даже не знаю, что попросить. Познакомилась с одним писателем недавно, с ним очень интересно. Раньше бы бросилась флиртовать, развивать отношения, а сейчас – во мне что-то исчезло. Я стала такая тетя... жена депутата.

– Ну ничего себе тетя, столько энергии! Вы даже не изменились.

– Это только в Москве. Если захочешь, скажи завтра бабушке, что мы до сих пор любим Гошу, что он в нас есть, это он не изменился. Приехал к нам в лагерь и от радости убежал в море. Прямо в одежде! Потом снял брюки, рубашку, прыгал там, в воде, размахивал брюками... На мачту залез... А Арнольд – ты же знаешь Арнольда?

– Папин с мамой профессор.

– Он в мире number one! Он хотел, чтоб Гошка ходил с ним на лыжах. Гоша сказал: я люблю ваши лыжи, если вы полюбите мои любимые стихи. Тот попросил что-нибудь на пробу. Гоша дал ему Мандельштама, Кушнера и Горинского. Специально Лёнькины стихи напечатал! Арнольд выбрал Горинского. Может быть, пошутил, но Гоша с ним придиричиво побеседовал, потом на лыжах пошел. И знаешь, в «Полном затмении» есть Гошин дух. Он тоже жил только чувствами, даже в мыслях. У него не было этих оттяжек: напиваться, бесчинствовать. Но напряжение было. Такому человеку трудно жить.

К Жене не поворачиваюсь, смотрю вперед. Вот и Пушкин. Пришли.

– Извини, если все неуместно, у тебя такая потеря.

– Да я тогда не очень-то и понимала, в девять лет. Я позже поняла, лет в четырнадцать. Поняла, чего лишилась. Как не хватает.

– Вообще отца?

– И вообще, и именно папы. Именно папы – каким он был.

17

В самолете дочитываю чмутовский текст, эссе про числа, – в Москве я обычно не читаю. Глаза теперь видят далеко, и однажды после перерыва в московских вылазках я придумала развлечение для метро. Для меня тот перерыв был размером с Лёльку, а для Москвы это были размеры Лужкова, Манежной площади и памятника Петру. Как всегда, Москва в метро читала: новые книжки, глянцевые обложки, – и я стала читать у соседей. Это было ужасно интересно. *Она раздвинула ножки, он просунул голову.* Вскоре она оказалась колдуньей, лесбиянкой, наводчицей, а он-то был честный милиционер. Но вышел на станции Охотный ряд. Зашла какая-то... кажется, Ольга. Смело закурила при свекрови и заявила, что за погибшего мужа писала детективы она сама – сама Маринина. Слева разворачивался куртуазный роман, восемнадцатый век или стилизация. Он отодвинул кончиком стрелы край кружев ее корсажа. Она побледнела, зная, что он известный покоритель сердец, топнула ножкой и вопреки зову сердца, прошептав «ненавижу», хлопнула обложкой и скрылась в сумочке. На ее место сели отец и сын. Что-то собирали в свои сумки, лепили шар из навоза, катили перед собой, это было их *я*. Я догадалась, что они – жуки-навозники. В одно мгновение их *я* вобрало меня целиком, я влипла в шар и покатила, покатила... Переворачивалась через голову, силясь прочесть на обложке название, было ужасно неудобно, я опознала только серию. Модную книгу из той же серии я давно таскала с собой: мне не нравилось предисловие, да и в Москве я обычно не читаю.

Уже дома искала текст про навозников, листала черные книжки издательства «Вагриус» и не хотела ничего другого. Лёня ревниво забрал книгу из моей сумочки, стал читать сам, и как-то вечером прочел вслух философский отрывочек – о жизни и смерти внутри восковой лампы. Я сразу же узнала автора – это он! Только он мог написать про скарабеев! Оказалось, он и написал – в другом романе, в «Жизни насекомых».

18

Чмутов сказал, что знаком с Пелевиным:

– Хочешь, дам телефон? Позвони, Расскажи эту байку! Ему будет приятно. Прямо сейчас позвони! Правда, у него автоответчик.

Чмутов теперь звонил нам домой, иногда мне, иногда мужу. Лёнины разговоры были короткими. «У меня всего один выходной, и я не могу себе позволить заводить новых друзей», – объяснил он однажды. А я позволила, я завела звонки, от которых екало в груди и после которых улыбалась перед сном. Угадывала, когда звонил именно он, но не бросалась к трубке, дочки уже знали его голос и подзывали меня дурацким чмоканьем. Мы разговаривали нечасто, это был факультатив, необязательный курс с редкими сообщениями. Иногда среди быта и беготни я целый день не вспоминала о нем, потом, спохватываясь, не забыть бы удачную шутку или провокационную темку, делала пометки на стикерах, лежащих у телефона: «Что значит дамский угодник? Он старается даме угодить или в даму угодить?»

Была ли я влюблена? Да, наверное, проще назвать это так. Что бы занятное мне ни попало, я представляла, как расскажу это Чмутову. Узнавала, будет ли он на мероприятии, замечала издали, старалась произвести впечатление. Встречи порой разочаровывали. Мне не нравилось, что он плохо подстрижен, небрежно выбрит. Застегнул бы на рубашке верхнюю пуговицу, зачем показывать нижнее белье? Как любой женщине, мне хотелось навести лоск на свой объект, как любая женщина, я понимала: это возможно лишь при близких отношениях. Он не часто оборачивался в мою сторону, но если смотрел, то серьезно и пристально. «Ири-нушка, тебе очень идет. К глазам твоим идет», – говорил он про что-нибудь серое или синее, и я прощала ему мятые щеки.

Вскоре он передал через Зою свою новую книжку. Боже, с каким предубеждением я накинулась на нее! Чмутов был моим первым знакомым писателем – писателем, который издавал книги и просил у других на это деньги. Родионов не в счет, он продал свою комнату, написал и сжег, почудил и вернулся. Мне не терпелось узнать, почему Чмутов пишет и считает нужным издаваться. «Посмотрим-посмотрим...» – примерно с таким чувством я открывала эту книжку. Прочла рассказ, и другой, и третий, но так и осталась с вопросом: «Что художник хотел сказать?»

По телефону я его то похваливала, то пощипывала, решив, что с писателем надо обращаться как с ухажером. Осторожно распускала свои перья, ведь он был един в двух лицах, русский писатель и учитель английского языка, а у меня была маленькая коллекция словесных диковин, и я ощущала радость собирателя-дилетанта, наконец-то встретившего настоящего знатока. Поняв однажды, что не могу ехать в Италию без итальянского, – намечалась наша первая *турпоездка* – я нашла в консерватории преподавательницу и, испугав ее, за три недели закачала в свой мозг, как вакуумный насос, семестровый курс. Потом были другие поездки и другие языки, я заглатывала основы, радовалась маленьким находкам: «цуг» по-немецки – поезд, «сувенир» по-французски – память, флейта пикколо – просто маленькая флейта. Итальянцам льстило, что синьора учила язык «пара куэсто вяджо», испанцы цокали: «Муй интелехентэ!» – и лишь во Франции мой французский воспринимали как дань вежливости: «Madam, do you speak English?» Вернувшись, я еще некоторое время жила в этом облаке, покупала кассеты и пособия, но работа, дети, хозяйство. Но екатеринбургские магазины!

– Женщина! Вы далеко отправились?

– Я в примерочную, я же спросила...

И выветривались, высыхали языки, в которых я была фрау, сеньорой, мадам или мэм. Я с трудом могла вспомнить простейшую фразу.

– А нечего, прикрываясь высоким именем, давать кому попало ключи от чердака!

Чердак – это не эвфемизм, чердак – это чердак, у нас верхний этаж и протекает крыша. Я очень вежливо веду себя в домоуправлении, я прихожу узнать, в чем дело на этот раз. На этот раз строят новый дом, пробрасывают воздушку, а на соседнем, то есть на нашем доме, пробили шифер в двух местах. Вбили колья у меня над головой. Но неужели можно так поступать, удивляюсь я, ведь крышу только что чинили, а у нас опять лужи на потолке. И в ответ получаю:

– А нечего, прикрываясь высоким именем, давать кому попало ключи от чердака!

Не зная, что с этой фразой делать, я для начала ее запоминаю. Видимо, они думают, что у меня есть ключи от чердака, я даю их кому попало, и теперь как раз попало тем, кто пробрасывал воздушку. А при чем здесь высокое имя? Намекают, что Лёня – местный депутат, это ясно, но кто чьим именем прикрывается? И в конце концов незатейливый смысл фразы до меня доходит: «Да плевать всем на твой потолок, хоть и муж у тебя начальник!»

19

Мои лингвистические изыскания не вызывали у Чмутова интереса, зато байки имели успех. Чмутов таял, поощрял и нахваливал: «Тебе надо писать, Иринushка, надо писать!» Сам он тоже много рассказывал – жирным, сочным голосом, я хранила этот голос, как пластинку, мысленно ставила где-нибудь в детской поликлинике, в безрадостной очереди: «Але, Ирина...» – и мне становилось хорошо.

Думала ли я о близких отношениях? Смотря как понимать сам вопрос. Я думала, что они невозможны. На это было множество причин. Отбросим ту несущественную, что я была замужем и любила мужа, что Чмутов был женат и, по слухам, любил жену. Кого и когда это останавливало? Три дочери, уже теплее, я не хотела бы перед ними краснеть. И еще я берегла свое сердце, боялась его разбить, ведь все романы когда-то кончаются. Знала, что Чмутов – *бабник и трепло* и что он рассказывает про своих женщин по всему городу.

– *Так почему не стреляли?*

– *Сир, во-первых, не было пороху...*

– *Другие причины можно не называть.*

Я назвала другие причины, теперь скажу, почему не было пороху. Когда муж в окопах, развлекаться нечестно. Лёня ушел в политику, и я стала чувствовать себя женой солдата. Наводила уют в блиндаже, а какой в блиндаже уют? Мы с девчонками строим теремок: лечим бабушку, находим сбежавшего Диггера, покупаем туфли для Маши. Живем в горшке иль рукавице.

– Я – муха-горюха.

– Я – лягушка-квакушка! А ты кто? Иди с нами жить!

Приходит Лёня, Лёня хочет быть с нами. Валит на крышу свои неприятности, залезает внутрь, как медведь, и все сыплется, падает, трещит, разрушается наш уютный домик. Все сразу кажется ни к чему: наши ссоры и перемирия, наши поделки, супы и пятерки. А он заваливается на ночлег туча тучей, с утра всех целует и вновь уходит в свой лес.

20

Что можно противопоставить мужским карьерным неприятностям? Двухместный диванчик, что едва втиснулся в гостиную. И ангины наконец-то прошли.

– Может быть, в выходные куда-нибудь сходим?

– Я же говорил: я в субботу еду в Тагил.

– Ты не говорил.

– Хорошо, вот сейчас говорю.

– А в воскресенье?

– В воскресенье у меня встреча.

Я ненавижу выходные! Я жду их всю жизнь, всю неделю. Лёня хочет покоя, а я хочу *знать наши планы*.

– Дай я хоть немного приду в себя. Я почитаю, – он засыпает сразу после завтрака, страстицы вздрагивают от храпа.

Начинаю готовить обед. Действие, отрепетированное до мелочей, успокаивает. Через час слышу шарканье тапочек, не оборачиваясь, чищу себе лук, режу себе мясо. Склоняю голову вправо. Сзади на плечи опускаются теплые ладони, к шее за ухом прижимаются мягкие губы.

– Я ненадолго, скоро вернусь.

Он возвращается не скоро, обедает поздно, скрывается в спальне, пишет, читает, я ликвидирую последствия борща. К ужину Лёня активизируется, включает видик, созывает девчонку. Плывут титры. На экране традиционная Камасутра.

– Лёня! Что ты такое поставил?!

(Как ты можешь! такое! при детях!)

– Откуда я знал! Здесь нет ограничений по возрасту. Посмотри на коробку, посмотри-посмотри, здесь ничего не написано!

– Зачем мне смотреть на коробку, ты посмотри на экран! Убери коробку, я не вижу мелкие буквы так близко!

– Да мама, успокойся, – вступает Лёлька, – ничего же не видно, только спины показывают.

– Нет, ну а когда мне еще фильм посмотреть? Что ты на меня так смотришь? Что ты так смотришь? – он нажимает паузу, фиксируя эротический кадр. – Когда мне еще что-то смотреть?! Зоя, дай другую кассету.

Лучше бы у меня опять улетела банка с облепихой! С облепихой, которую я собрала на родительской даче, а дома оцципала, промыла, обсушила, размяла с сахаром и к трем часам ночи уложила в простерилизованную над чайником банку, водрузила ее на пластиковый стол и стала закрывать пластмассовой крышкой. Тугой-претугой. Лучше бы эта банка вновь вышла на наклонную орбиту, устремилась по эллиптической траектории к потолку и раскручивала бы липкую спираль по всей кухне, в апогее прицеливаясь в плафон, в перигее заляпывая мою юбку. Я была бы врагом исключительно себе, а сейчас я враг семьи, враг отца и мирных процессов.

Только-только дети облепили папочку, только втиснулись на диванчик, разобрались, где чья нога, и папа был такой веселый, и ведь *она* уже слезла с него, и почти ничего не видно, вон, мама, посмотри-посмотри, *эти тени* просто размазались в стоп-кадре. Нет, теперь Зое придется выбираться из-под Лёли, перелезть через папу, перешагивать через Машины ноги – не опираясь на стол, чтоб не трогать мамины конспекты. И вздрагивать, наступив на ухо Диггеру, и почесывать пострадавшего, а потом одну за другой таскать кассеты для экспертизы. Папа будет озабоченно их разглядывать, чтобы спросить:

– Мама, вот эту детям можно?

– Я сказала, я не вижу мелкие буквы!

Не просто не вижу, я их ненавижу.

– Здесь написано: для всей семьи. Иркин, хочешь комедию для всей семьи? Только не говори потом, что юмор грубый. Что ты хочешь?

– Ничего не хочу. Хочу отдых для всей семьи. В выходной я хочу выходить.

– Вот к чему ты это сейчас говоришь? Куда здесь можно выйти?

Зоя меняет кассету, Лёня нажимает на кнопку пульта. На экране появляются два школьника и собачка. Тот, что поменьше, обращается к толстому:

– *Убери этого вонючего пса, мешок отбросов! Не то ты будешь долго искать свои зубы в куче собственного дерьма!*

21

Я осваивала Чмутова по телефону и через книжку. Первый способ был как дождь или снег, я не знала номера его телефона и зависела от звонков. Зато второй давал полную свободу. Таская книжицу в сумке, я могла открыть ее где угодно, где угодно в двух смыслах сразу: в салоне красоты или у зубного и на той странице, где захочется. И однажды вечером, в кругу лампы, я нашла то, что искала. Рассказ, от которого зашло мое сердце, – он назывался «Рассказ Бунина». Что в нем было? Да почти ничего. Человек засыпает, уткнувшись в плечо жены, после первой близости после роддома и видит мгновенный сон, даже не сон, а воспоминание во сне. Видит себя двенадцатилетним школьником на крыльце своей школы теплым осенним пасмурным днем. Мальчик видит голые тополя перед школой, низкое небо и затоптанный газон. И жгучее чувство тоски и боли возникает в нем без причины, и мольба о незнании своей жизни, и внезапные слезы раскаянья в том, о чем он еще не ведает, настоящие слезы, живые, проливающиеся в явь через сон. Я не спрашивала, что художник хотел сказать, просто дышала вместе с ним две страницы. Он подарил мне особый миг, миг растворения в творении. Он растревожил и разбудил то состояние души, когда жизнь еще впереди и все до слез – и вдох, и печаль, и радость.

Думая о нем нежно, бережно, удивлялась себе, ведь раньше не верила в такие чувства. Этот чеховский пожилой господин, что встречается не в одной его пьесе, бескорыстно любит взбалмошную даму сердца, все понимая, все прощая и даже не желая взаимности – эта мужская литературная роль вдруг неожиданно стала моей.

Мы снова встретились на выставке, в Государственной художественной галерее. Чмутов в подкладочном пиджаке, я – в костюме от Тьерри Мюглера, элегантном бархатном костюме со стразами. Ни один мужчина не сделал мне комплимента. Я пыталась похвалить писателю его рассказ, стразы сверкали, разговора не выходило.

– Так вот видишь ведь как, Иринushка... Сердце сжимается, говоришь? А у меня-то, наоборот, разворачивается. Вон и Ларисоньке моей «Рассказ Бунина» нравится. Да я вас сейчас познакомлю. Ларча, смотри, тут Иринushка Горинская!

Я читала о красоте его жены, но без авторского предупреждения не сочла бы эту женщину красивой: несчастливые глаза, усталый вид и нарумяненные щеки. Она нервничала, что сыновья плохо себя ведут, бегая наперегонки по залам, что старший в спортивных штанах – Игорь не передел его после школы. Мы подошли, Лариса выпрямила спинку. Приятный голос, милые манеры. Она астролог, может составить мой гороскоп – ее глаза тут же блеснули лукавством. Гороскоп так гороскоп, решила я, будет повод узнать номер телефона. Я могла давно бы спросить у Майорова или Фаины, но не хотела раньше срока обнаруживать свою тайну. Мне хотелось растянуть тот период, когда тайна хранится внутри, живет своей жизнью и не надо купать ее при бабушках и наряжать для знакомых. Дома с трепетом набрала заветный номер и услышала: «Привет, Ирина. Ларису? Сейчас позову...»

В ту же ночь мне приснилось, что мы целовались. В тесной-тесной прихожей Майорова. Я что-то искала в карманах пальто, Чмутов зашел, приблизился в полутьме. Без слов, без объяснений. Раньше мне снилось такое каждой весной, раньше снилось не только такое! Сладчайший миг, когда надо решиться, но стыдно, долг не велит, ты же замужем. Или боишься, что кто-то войдет, вот же, вот, щекочешь шепотом его ухо – «ты что, не слышишь, они уже близко, не надо». У меня был устоявшийся набор персонажей: горнист из лагеря, парень из группы и Никита Михалков. Михалков из-за «Жестокоего романа»: *Лариса, признайтесь, вы меня любите? Вы любите меня, Лариса?*

22

Прихожу к Ларисе в офис, светит солнце, вовсю капает с крыш. Лариса в бусах и трико-таже, без Чмутова выглядит веселей и моложе. Усаживает меня в кресло, подает кофе. У нее длинные острые ногти *с аквариумным дизайном*.

– А у тебя тут мило, – говорю.

– Клиенту должно быть комфортно – я еще не все сделала как хочу. Люблю красоту, это Игорь зачем-то пугает людей. Ну начнем? У тебя такой гороскоп интересный, смотри на карту: вот Дом друзей, вот Дом детей...

Но я хочу узнать, что делать со своим собственным домом, хочу, чтоб звезды рассказали, как быть с жильем. Мы затратили немало сил, чтоб расселить верхнюю квартиру, разрушить стенки и потолок, соединить все в одно пространство, а оно оказалось тесным, как туфли, купленные не по размеру. Самую просторную комнату Лёня занял библиотекой. Он покупал книги и шкафы с такой скоростью, что, пока я подыскивала себе письменный стол, места для стола не осталось. Даже Фаинка с трудом протискивается между шкафами, когда приходит *взять что-нибудь почитать*. Библиотека – мужской уголок в нашем тереме, Лёнин храм, его гараж и кабак. Я пускаю туда Фаинку по секрету от Лёни, мне жаль, когда вещи *лежат без движения*. Забыв старые обиды, я удерживаю верхние книги, пока она тянет из стопки нужную, самую нижнюю, удерживаю старательно, чтобы Фаинку не завалило. Иногда книги все же обрушиваются, и Фаинка, потирая ушибленное место, помогает мне составлять их обратно. Иногда рвется суперобложка нужной (нижней) книги, и тогда Фаинка уносит книгу раздетой:

– Смотри, это так и было, не отворачивайся, смотри-смотри, я специально здесь оставлю, чтоб Горинский не обвинял меня во всех грехах.

Я прячу испорченную суперобложку.

– Ирина! Кто это рылся в моих книгах?! – раздается в тот же вечер. – Не смей сюда никого пускать! Считайте меня кем угодно, но не трогайте мои книги! Это совсем не смешно.

– Лёнечка, Фаине нужно для передачи, она вернет, ты же знаешь...

– Фаина?! Как ты можешь пускать сюда Фаину?! Она масло в столовой воровала!

– В столовой, масло? Где это ты был с ней в столовой?

– Не начинай! Прекрати свои глупости.

– Это глупости?! Так смотри же, она тебе еще и супер порвала.

Позже мне становится стыдно за ябедничество, и когда Фаина приходит в следующий раз, я опять удерживаю стопку книг, чтобы ее не зашибло.

Раньше мы жили теснее, спали с Лёней в гостиной на диване, Лёлька в детской кроватке рядом, и я готовилась к лекциям на кухне: укладывала детей, дожидалась, когда бабушка возьмет свои мазы из холодильника, закрывала дверь поплотнее, на полотенце. Теперь, не выспавшись, я выгляжу неприлично, ночью лучше бы не работать, но днем... Я занимаюсь в кухне-гостиной, где нет двери, которой можно отгородиться от мира, все открывается ко мне, а в полу сквозит дырой лестничный проем. Моя энергия улетает в эти отверстия, греет молоко, заполняет портфели и сушит вареники, а если дети оставляют меня в покое, бабушка кричит снизу: «Ирина!!! У нас сегодня какой день? – и переспрашивает: – Какой-какой? А какое число?!» Бабушка хочет знать, где случилось землетрясение, – ее внуки живут в разных странах. Вечером Лёня включает новости.

Я ищу место для письменного стола. Сменить квартиру? Продать пианино? Квартиру жаль и не получается, пианино тоже немного жаль. Тема жилья становится лейтмотивом моих неудач и порождает еще худшую медицинскую тему.

– Это от перегруженности земным, материальным, – объясняет Лариса, – если не выполняешь своего предназначения на земле, начинается конфликт души и тела.

23

Она не спеша развивалась крещендо, эта тревожная медицинская тема, лишь однажды прорвавшись фортиссимо, когда меня *ранило в политической борьбе*: год назад область с городом вели битву за мандаты в Думе. Лёня возглавил областной предвыборный штаб, и тихие радости ушли из нашей жизни: театры, покупки, застолья и праздники – все было отодвинуто на *после выборов*.

- Лёня, ты знаешь, сколько лет исполняется Маше?
- Да.
- Что да?
- Знаю, сколько лет исполняется Маше.
- Сколько?
- Что сколько? – он научился спать стоя, с открытыми глазами.
- Скажи, сколько лет исполняется Маше.
- Мне что, мало за день вопросов задают?
- Лёня, Маше исполняется шестнадцать лет. Ты слышишь меня?
- Слышу.
- Ну и что?
- Больше торжественности, пожалуйста, больше пафоса. Дай мне спокойно умереть.
- А ветеранов поздравлять у тебя сил хватает.
- Да.
- Что да? Лёня, ты же спишь! Скажи, что да?
- Сил хватает. Что ты меня мучаешь?!

Воскресенья окончательно исчезли из нашей жизни, и мой организм, упустив ритм и тональность, начал фальшивить. С детства, сколько я себя помнила, воскресенье представлялось мне нотой до, началом первой октавы, серединой клавиатуры, опорной клавишей напротив замочка. Замочек никогда не запирался, и мне казалось, что металлическая заплатка на лакированном черном дереве просто указывает главную клавишу. Мне нравилось перечислять дни недели по-английски, нравилось, когда счет начинался с воскресенья: санди-мандитьюзди-вэнзди... до-ре-ми-фа-соль-ля-си. В воскресенье папа обычно натирал всем лыжи, покупал шоколадку, и мы с младшей сестрой, мамой и папой шли кататься в лес, а когда кончалась зима, шли в гости к родственникам, в кино, на выставку или загорать на речку. Воскресенье было тоникой до мажора. И даже в моей взрослой жизни, когда неделя могла оказаться минорной, какой бы бемоль или бекар ни случился в субботу, она всегда разрешалась в тонику, и жизнь уподоблялась нормальным гармоническим колебаниям.

Утомительное предвыборное разыгрывание, игра без ритма и без тональности рассинхронизировали мой организм. Хроматическая гамма сбила циклы, испортила сон, породила аллергию и аритмию. Я ждала, когда все закончится, войдет дирижер, взмахнет палочкой, и...

24

Сезон закончился. Нагрянули выборы. В воскресенье, в ночь подсчета голосов, муж дежурил в штабе, в понедельник зализывал раны – выборы были проиграны, во вторник я окончательно лишилась сна.

– Все суета, – объясняет Лариса, – низменные страсти. Нужно слушать музыку высших сфер.

Во вторник у меня было три пары. После лекции подошел староста 201-й:

– Мы не идем на семинар – у нас демонстрация.

Бумажка с призывом на доске объявлений висела уже пару недель, но я не придавала ей значения, я привыкла не придавать значения тому, что вижу на стенах института, – приказам о противодифтерийной вакцинации, вырезкам из антисемитских газет и приглашениям в школу манекенщиц. Я теряюсь:

– Но ведь в пятницу контрольная. Что ж вы раньше не сказали, я бы разобрала задачи на лекции.

– А мы-то придем, мы успеваем, Ирина Борисовна! – радуется 202-я группа.

Одни успевают, другие не успевают, зачем мне застегиваться вперекос?

– Ребята, разве идти обязательно?

– А нам ректор сказал!

– Нам декан сказал... Нам сказали, освободят от занятий!

– Образование хотят платным сделать, вот и идем! Совсем уже оборзели!

Я переспрашиваю брезгливо, будто пальцами поднимаю вонючую тряпку, чтобы стереть с доски:

– Кто *уже* оборзел? – этот приемчик всегда работает. Раздается смех.

– А кто их знает... Вузы будут платные! Уже за пересдачи деньги дерут. В библиотеке за просрочку. Надо идти, обязательно надо! Слыхали про реформу?

Я не слыхала про реформу, мне жаль задачек, что я готовила полночи, к тому же после трех пар Лёня обещал прислать за мной машину.

– Ребята! – я стараюсь быть убедительной. – Ну куда вы пойдете? Что ее, в Екатеринбурге готовят, эту реформу? Кто сказал, что она вообще будет? Там дождь со снегом, только зря простынете. А у нас сейчас бесплатное занятие по термеху, в тепле, в тишине, берите, пока даю.

Часть студентов быстро соглашается. Кто-то не собирался идти, кто-то сомневался, кому-то нравится все, что я говорю. Я уже давно поняла, что есть студенты, которые ищут Учителя. Если выберут тебя, все твое им становится интересно: и лекции, и манеры, и тезаурус. Ты рассказываешь про момент инерции, а они просветленно кивают. Прекрасно, если это хорошисты и отличники, а если нет – потом на экзаменах испытываешь неловкость. Что ж кивали-то, думаешь, зачем дурачили? А они *сопереживали и присутствовали*. Но всегда есть тот, кто не любит ни тебя, ни твой предмет, и тот, кто думает, что его нельзя полюбить.

– Мы тут будем термех учить, а образование платным сделают! – бунтует Васечкин, должник за прошлый семестр. Странно, что он вообще пришел на лекцию.

Девочки ищут выход:

– А давайте без большого перерыва, успеем и туда и сюда!

В аудитории после перемены я обнаруживаю полгруппы. Два аккуратных мальчика докладывают:

– Мы на демонстрацию не пойдём, Ирина Борисовна, зачем это надо.

Через год оба эти мальчика, одетые в униформу, встретят меня в холле «Атриум Палас отеля», – хорошая подработка для студентов, но мне станет неловко, словно я давала им не те формулы.

– Ждать больше некого, Ирина Борисовна, Смирнов с Гореловым ушли.

Смирнов с Гореловым, мои любимые парни, деревенские по виду и по повадкам. Смирнов хитрит, работая под лентя, а я на семинаре еле сдерживаюсь, чтоб не погладить умную бритую головушку. Горелов учится средненько, но я вижу, что ему всегда интересно, куда направлены сила и скорость. А вдруг они правы? И ректорат разрешил. Последнее время я стараюсь быть лояльной к начальству.

– Ладно, раз многие ушли, отменяем занятие. Только, ребята, не ходите на площадь. Что там хорошего, в этой толпе...

Звоню Лёне, чтобы не присылал машину. Выхожу, пытаюсь поймать частника, это сегодня непросто. Институт окружен грязным тающим валом и потоком воды. Идет дождь вперемешку со снегом. Летят машины, разбрызгивая жижу. Колготки тонкие, ботинки легкие – я осторожно перелезаю через сугроб, поднимаю глаза и вдруг вижу: на меня мчит КамАЗ! Ретируюсь обратно, не разбирая дороги, за сугроб – грязью обрызгивает только лицо. И волосы. Машу рукой из-за укрытия, это бессмысленно, меня не видно, и я выхожу к воде с тяжелой думой. Не все КамАЗы будут мчаться по краю, но частник, которого удастся остановить, обольет меня грязью с головы до ног.

Кто-то ловит машину на проезжей части. Конкуренты.

– Ирина Борисовна, сюда идите!

Перепрыгиваю через водные хляби, черпаю в правый ботинок, подбегаю. С заднего сиденья смотрят внимательные черные глаза.

– Спасибо, Малик, вы – мое спасение!

Льстивая улыбка, белая рубашка, ондатровая шапка – Малик Мамедов, институтский профорг, он перестал здороваться с тех пор, как сдал экзамен. С ним председатель турклуба в спортивной шапочке, укладывает в машину свежие транспаранты. Плохо обструганные палки пахнут родительской дачей, я боюсь зацепить колготки, спешу занять место рядом с водителем.

– Ирина Борисовна, вы домой едете, да? Вы в центре живете? Вашего мужа по телевизору все время видим. А почему из Израиля вернулись, не понравилось?

– Что значит «почему вернулась»?

– Вы же насовсем уезжали, да? Или в Германию насовсем уезжали?

– С чего вы взяли, что я уезжала, я в декрете была! Вы сами-то дома теперь бываете?

– Мой дом теперь здесь, Ирина Борисовна, мне квартиру дал институт. Азербайджан теперь далеко – в Азербайджан летать дорого.

Я вспоминаю давнюю демонстрацию. Солнце, снег, маленькая Маша, флаги республик. Сколько воды утекло. Боже мой, сколько воды! Мы проезжаем мимо труб Уралмаша.

– Что за плакаты вы везете, Малик?

– Даешь бесплатное образование! Очень нужное дело, Ирина Борисовна! Всероссийская демонстрация против проекта федеральной реформы. Две недели такую акцию готовили. Ректорат нам поддержку оказал, город тоже не против. А вы здесь, в самом центре, живете, да? Вам счастливо, мы на площадь к мэрии поедem.

Дома я долго отмываюсь, грею ноги в горчице, залезаю в носки. Собираюсь вздремнуть перед тем, как пойти за Лёлей в садик, но звонит Лёня:

– Здесь сейчас полный кошмар. Ты бы видела, что вытворяют твои студенты.

– Это не мои, мои пошли на площадь к мэрии.

– Да все уже здесь, у Облдумы! Швыряют лед и банки из-под пива.

Тепло и сон куда-то вмиг улетают. Жду недоброго. За ужином Зоя включает телевизор. Я поворачиваюсь и обмираю: на экране милиция разгоняет студентов. Звоню Майорову.

– Андрей, ты видел? Что они сделали со студентами, видел?

– Все правильно с ними сделали, еще мало им дали!

– Андрей...

– Только один мент дубинку поднял, его и показывают все время.

– Как ты можешь?!

– Ирина, это нормальная защита властей! Нельзя митинговать, где захочется, ни в одной нормальной стране нельзя! Им разрешили только на площадь! Ты видела, как болельщиков разгоняют в Англии? Дубинкой по мышцам, газом в лицо, носом в асфальт, в наручники и по машинам.

– Я не могу этого видеть, Андрей.

– Их оттеснили, и все. К ним выходили, просили, они ж не слушали ничего!

С трудом дожидаюсь Лёню, мне жаль студентов, мне стыдно за власть, Лёня в бюджетном комитете, а все-таки...

– Что теперь будет?

– Ну, что будет, что будет... Войцеховский уйдет в отставку.

– Почему Войцеховский?

– Он курирует вузы. Интеллигент во власти. Очень жалко.

Войцеховский – профессор и галантный мужчина. Доктор философии. Мне тоже жалко.

– Он что, имеет к этому отношение?

– Нет, конечно. Проспали с выборами, а кое-кто сообразил.

Смотрю новости – на разных каналах разные сведения: нет пострадавших, есть пострадавшие, трое, двое, одна девушка со сломанным ребром, один юноша с вывихнутым предплечьем, милиционеры с разбитыми лицами. Наши новости идут первым номером во всех российских выпусках. Этой же ночью мой позвоночник перекосило, утром я отправляюсь к врачу.

– Ты, Ирин, изогнулась – ну прям как басовый ключ! – сочувствует Толик.

– Скорее как скрипичный, – выгнув шею и прижав голову, я втягиваю ногу в машину. – Вчера промокла и на нервной почве. Так стыдно, что разогнали студентов.

– Мне стыдно, что я им в лоб не дал самолично! Монтировкой. Ирин, у меня сейчас голова как угол Бебеля и бани. Ты была там, нет?! Не говори так, Ирина, лучше не говори! Не то я сматерюсь сейчас со страшной силой. Ты видела, что они творили? Ну просто караул. Додики дискотечные! Я, б...ь, за машину боялся!

– Толик!

– А у меня, может, тоже нервы. Я так и вижу, как будут крутить эти кадры, на всех выборах будут крутить, я бы так им сейчас...

– Толик!

– Да я еще не сказал ничего, а вы, девушка, уж больно интеллигентно воспитаны. Вылезайте-вылезайте, приехали.

Вдруг понимаю, что Толик прав, прокручиваю последние события. Это объявление на белом листочке, на глазах превратившееся в грозовую тучу, будто из исторических романов, читанных в детстве, – ощущение, что из облачка на горизонте, из неважного происшествия на периферии, вдруг зародится политическая гроза, беда, несчастье – таким было мое дежавю. Никакой реальной беды не принесла эта демонстрация, но мне казалось, словно всех заляпали грязью. Я знала, что большинство будет *за студентов*, а я уже не смогу.

– Ну что, вы довольны? – спросила я Горелова со Смирновым, заставляя себя смотреть им в глаза.

Я стояла у доски со скособоченной шеей и выгнутым левым бедром, я боялась услышать про зверства милиции. Что-то такое, что мои студенты видели, а журналисты не развели.

– А как же, Ирина Борисовна, теперь вся страна про нас знает. И по телику крутят, а так бы всем было по фигу.

25

Рассказываю Ларисе, как долго и мучительно болела моя шея. Точно в нее вживили вражий позвонок, генератор кошмара.

– Я даже Войцеховскому звонила! Три месяца спать не могла. Пока не нашла массажиста-буддиста, он, наверное, мне прямо в позвоночник втер свой буддизм. Внушил, что это не мои проблемы.

– Конечно, не твои. Ты лучше думай о духовном, о творчестве. И о квартире тебе думать не надо.

Мне снова хочется верить, что сейчас меня научат жить. Раньше желающих было меньше. Я приходила за Машей, воспитательница радовалась: «А нас недавно фотографировали!» – и выносила фотографию перепуганного ребенка с казенной куклой и чужим бантом на голове. Три жутких цветных отпечатка, один для себя и по одному для каждой бабушки, пробивали такую брешь в моем бюджете, что покупку обычной хлебницы приходилось отложить до аванса, того аванса, на который Лёня все равно потом покупал собрание сочинений Бунина. Наверное, тогда я выглядела одухотворенно, тогда никто не спасал мою душу! Но сейчас... По объявлению в газете я вызываю сантехника, а он меня уверяет, что нельзя жить заботой лишь о земном благе, и зовет в секту адвентистов седьмого дня. Кардиолог в поликлинике рекламирует биодобавки, ставя баночки на гармошку моей ЭКГ, и вещает о карме и астральных телах. Грузчик из мебельного вместе с диваном заносит в нашу квартиру свои *духовные картины*, расставляет их вдоль стены – «вам понравится, они впишутся в интерьер!» Сегодня, правда, я сама перепутала жанры. Хочу, чтоб звезды разбирались в квартирном вопросе, а звезды-то ждут, что я займусь творчеством... Лариса закуривает.

– Когда Скальд собирался стать священником, я все думала, как буду бросать курить. Попадье же курить не пристало, – она кокетливо улыбается, с удовольствием затягивается.

Тусовочное прозвище Скальд – из той жизни, когда Чмутов снился не мне и ходил по морозу в шортах.

– Ты знаешь, что у него был православный период? Мы даже венчались в церкви.

Любопытно, она всем рассказывает про своего мужа или я так плохо скрываю интерес?

– Может, ты будешь рисовать или ставить любительские спектакли. У нас знакомая в сорок лет вдруг стала писать песни. Это сестра Родионова, Лиза, Скальд ищет ей спонсора.

– Лиза Каплан? Ей же все пятьдесят!

– Сорок три на самом деле, это она так выглядит. Скальд считает, она талантливее своего брата...

Обаятельная у него жена. И какая-то... будто желудь. Будто знает, зачем живет. Пытаюсь поторговаться: не сойдет ли за творчество авторский курс, лекции и задачи. Но у Ларисы другие цели:

– Мы подумываем насчет литературного кафе, это моя идея. Открыть кафе, где поэты читали бы стихи, собирались писатели и художники. Может, я себя еще проявлю.

– Ты хочешь *еще* себя проявить?!

Бог мой, какое лучезарное личико! Мне казалось, выйдя замуж за Чмутова, она вполне себя проявила. И у нее три сына: два от Чмутова и старший, студент.

– Я Игорю все твержу, что в старости буду писать мемуары. У меня же была благополучная жизнь, книга очерков, муж-бизнесмен – я все бросила ради Игоря! Он мое наказание за гордыню. Я ведь считалась вундеркиндом, я в пятнадцать лет в универ поступила! Потому и курить начала, на первом курсе, чтоб старше выглядеть. Я его уговариваю написать роман. Человеку скоро тридцать семь, а у него даже трудовой книжки нет! Тридцать семь лет – опасный возраст. Тридцать семь с половиной особенно. Если не следовать своему кармическому

призванию, все что угодно может случиться, даже смерть. У тебя что-то случилось в этом возрасте?

– У меня? – подсчитываю, холодея. – Самое страшное. Мы как раз тонули. Всей семьей. Мне было чуть больше, а Лёне...

– Ну, тем более, вы же ровесники! – она удовлетворенно кивает. – Значит, жили не так, согрешили, зла пожелали кому-нибудь.

– Да ты что, Лёльке было полтора года! Лёня только купил машину...

– Вот видишь, *купил машину*. Он ведь пишет стихи?

– Ну и что? Не за счет стихов же он живет!

– А Скальд, представь, только так и живет, представь, только так! Пьюбис взял его в школу, это впервые, впервые он на службу ходит. Он пытался после института работать, по распределению, в сельской школе. Только представь, Скальд – в средней школе! Он не смог, сбежал, оставив записку. Трудовую там бросил, предпочел армию. Ирина, он же никуда не вписывается, всех пугает. О мухоморах всюду кричит, а я сама их пью как антираковое, по капельке. С нашей-то экологией. Я похожа на наркоманку?

– Нет, что ты! Ты – не похожа.

Она выглядит очень пристойно, и голос у нее мелодичный, ей бы на радио выступать. Или на телевидении, она хорошенькая.

– Игорь меня от стольких комплексов избавил! Все мои тайны всему городу рассказал. И мне о всех своих любовницах, представляешь? Ему ни разу еще девственница не попадалась!

Мне не хочется заглядывать в их постель.

– А что у меня на личном фронте?

– Смотри-ка, – она разглядывает чертежик, – у тебя пик сексуальной активности. Будь осторожней.

Куда уж осторожней – слаще того поцелуя во сне ничего не будет.

26

Весь вечер, вплоть до самого сна, надоедаю мужу рассказами о Ларисе.

– Она варит Чмутову траву, а к ней ничего не липнет! Лёнь, какая у нее осанка! Мы совсем разные.

– Не догадываешься почему? – он пробирается под мое одеяло. – Почему ты все время чем-то заляпываешься? Куда-то лезешь?

– Вот кто к кому сейчас лезет? Ну Лёнька! Ты хочешь сказать, что я такая из-за твоей могучей спины.

– Из-за моего могучего *всего*. Я помог тебе сохраниться.

– С нашим-то обжорством! Она тоже троих родила, а посмотри, какая стройная!

– Вот уж кто меня ничуть не привлекает! Зачем мне стройная? У меня вот что есть. И это, и вот это...

– О господи! погоди. Ну не трогай! Я хотела рассказать тебе про гороскоп...

– Свет включить? Бумаги достанем?

– Лёня, ну когда мне еще с тобой поговорить!

– Говори-говори, я весь внимание, – он усаживается, скрестив руки на животе. – Только недолго, а то я засну.

– Она сказала, что в тридцать семь с половиной лет случаются катастрофы. А мы как раз тонули. Представляешь?

– Да уж... Но ведь не все же тонут.

– Только те, кто духовно не развивался.

– В тридцать семь? Александр Сергеевич Пушкин, например.

Лёня решительно на меня наваливается. Я пытаюсь освободить нос. Зачем я вообще болтала! Теперь он меня не подождет. Рассердился, устал уже ждать. Теперь или ссориться, или... Срочно пытаюсь что-то нафантазировать. Я молоденькая проститутка, а он старый аристократ. Я его обслуживаю, еще бы руки освободить. Или ноги. Освободить бы хоть что-нибудь. Нет, на старого аристократа это мало похоже. Нетерпеливый подросток. Крупный, пыхтит мне прямо в ухо – ничего, мы сейчас с этим справимся. Я томная тридцатипятилетняя дамочка, а он неопытный, шестнадцатилетний. Лето. Дача. Дом как у родителей, там по соседству родители Пьюбиса. Странно, я Пьюбиса там никогда не встречала. Пьюбис с Чмутовым парились в бане зимой. Мне Майоров сказал. Пьюбис с Чмутовым. С Чмутовым? С Чмутовым. С Чму-у-у-у-вым. С Чмутовым, с Чмутовым... Надо же! Все.

27

Теперь я читаю его книжку, как разведчик. Ищу хоть что-нибудь «про любовь», но ничего не встречаю и с надеждой приступаю к роману, к *конспекту романа*, как автор его назвал. Герой конспекта, писатель Омутов, долго стоит перед зеркалом, выбирая имидж – хайратник, длинное пальто, перо за ухом, – затем отправляется ошарашивать трамвайных пассажиров. Он гуляет якобы по Перми, но я, пермячка, не узнаю родного города. Чмутов описывает Екатеринбург, герой кружит по его улицам, кружит в окрестностях моего дома, редакции журнала, на площади и на рынке – мне никогда не хотелось здесь гулять.

Я впервые прилетела в Свердловск с трехнедельной Машей, Лёня заканчивал аспирантуру, я спряталась к маме под крыло – о том, как растет наш ребенок, я рассказывала мужу в письмах. Не так много было в моей жизни поступков, ради которых хотелось бы повернуть время вспять. После полнокровной московской юности запереть себя в чужом городе, в героических буднях какого-то одинокого надрывного материнства! Родители переехали из Перми лишь недавно и каждое утро перед работой и каждый вечер после нее обсуждали трамвайные маршруты – папе нравилось выбирать оптимальный. Я не знала ни улиц, ни остановок Свердловска, ни за одним из миллиона его окон не жил хоть кто-нибудь мне знакомый. Я слушала разговоры родителей как рассказы о дальних странах. Однажды, совсем уж затосковав, вырвалась за пределы двора и прямо с коляской отправилась на проспект Ленина – пусть ребенок подышит городом! Был теплый июльский вечер, зажглись фонари. Из кинотеатра «Искра» выходили люди, распространяя запах духов и сигарет, прищуривались, озирали реальную жизнь, окликали своих. В них еще угасал просмотренный фильм, угасал постепенно, как гаснет в кинозале надпись «Выход». Я попыталась затесаться в толпу, прислушалась к разговорам, к смеху. Постояла на остановке. Освещенные окна трамваев подрагивали чередой заманчивых кинокадров...

Как только, с чем только и куда только с той поры мне не приходилось передвигаться по Свердловску! С санками, лыжами, Зоей и Машей в переполненном грязном троллейбусе, с Диггером в наморднике, с костылями для Лёни, в намокающих валенках, с флюсом, с бабушкой в «скорой помощи», с цветами в такси, фанерой в кузове, клещом за ухом, с анализами, тортом, байдарочными веслами, с умирающей черепахой, гуманитарной помощью для многодетных, ожогом живота, платьем для утренника, мешком раствора в багажнике иномарки. И в красивой шубе, дорогом макияже, с солидным мужем, в перекрывающих друг друга облаках французской парфюмерии. Одного только не было в моей свердловской жизни: просто так, куда глаза глядят, с подругой, с приятелем, или одной, растворяясь в толпе, как в Москве, как в Лондоне и Париже...

– Ну как же, Иринushка, ты на меньшее не согласна, тебе Париж подавай! – сам Чмутов приехал из райцентра и полюбил Свердловск. Любовью к городу дышали его рассказы. Для него, наверное, и Свердловск был Парижем.

– Что поделать, Игорь, если здесь я всегда *энегрично фукирую*.

– А это, ласточка, кто как себе выбирает. Так живешь – значит, хочешь так жить. Как так люди живут, будто смерти нет вовсе!

Тему смерти я с ним обсуждать не люблю. *Темы* я обсуждаю по телефону с Майоровым.

– Знаешь, Андрей, – сказала я как-то ночью, свернувшись в кресле, – даже если б мы захотели друг друга и ты не был бы православным, не смотрел бы, что Лёня – твой друг, что ты женат, и я бы на это не смотрела, нам секс вообще ничего бы не дал.

– Скажи почему.

– А о чем бы мы говорили *после*, шептались, смеялись – после первого раза, когда можно наконец не таиться, в тот момент, самый лучший, когда в фильмах подходят к окну или закуривают?

– Да, пожалуй. У меня сейчас телефон на подушке.

И вот нашей темой стал Чмутов – стал потихонечку, невзначай, я исподволь его поругивала, чтобы Майоров хвалил, и улыбалась, слышав его имя.

– А-а, ты тоже подседа на Чмутова, – догадался наконец Майоров. – Ты же знаешь, что Фаина его снимает?

Чмутов только что снялся в ролике, где два юбиляра, Гете и Пушкин, лезли на старую телевышку, чтоб плюнуть в вечность – Фаинка делала сюжет на конкурс памяти Гете, ролик шел три минуты, и Игорь, изображавший Пушкина, едва мелькнул на экране. А мы-то с Зойкой так уютно устроились с чаем у телевизора! Потом Фаина сняла Чмутова в нескольких передачах, и теперь он сам пытался *снять* Фаинку. Игорь, если верить Фаинке, делал ей очень конкретные предложения, но она была с юности сыта своим режиссером. Я упорно пыталась Игорю это объяснить: бывший Фаинкин муж компостировал в трамваях комсомольский билет и разгуливал по городу в зеленых колготках – в те годы, когда Чмутов еще был пай-мальчиком и слушал Лёнины лекции по совправу. Чмутов быстро вычислил наш телефонный треугольник.

– Полтора часа с Фаиной, я засек! – говорил он вместо приветствия. – Мы с Майоровым вас застукали.

Игорь читал мне по телефону стихи, много стихов, пропевал каждый звук, каждое слово, он любил то, что читал, *исполнение* было эффектным, но стихи при этом становились похожими – как римские храмы, которые пробегаешь с экскурсоводом. У него были свои кумиры: Мандельштам, Высоцкий, Еременко. Он почему-то ненавидел Пастернака. По вечерам мы с трудом дозванивались друг до друга. Чмутов вписался в наш привычный кружок, превратился в главного гостя, свежую кровь, телефонный стимулятор. Он обзванивал всех перед выставками и фестивалями, первым отзывался, если видел кого-то по телевизору. Хвалил возбужденно и щедро, критиковал осторожно, не увлекаясь. Он *западал* на таланты, будоражил других, бредил проектами, хотел шума, славы и денег – не обязательно для себя.

– Лёнюшка, а давай Ватолину премию дадим. Демидовскую. Хороший же поэт, есенинский. И поддержать бы надо, в запое ведь человек.

– Лёнюшка, тут потрясающая акция намечается, «Дилетантские танцы». Ты бы принял участие...

– Что он звонит? – ревновала я.

– Дурь какая-то, на сцене мне танцевать, и чтоб телевидение снимало. Позвони и узнай все что хочешь, – Лёня по-прежнему относился к нему с превосходством преподавателя.

Но я не звонила без повода, не торопилась встречаться. Телефонная трубка создавала ощущение редкой близости. Телефонная трубка избавляла от неловкости телефильма, когда герои говорят по очереди, а в паузы подходят к окну, двигают стулья, ставят чайник. По телефону пауза была паузой, и можно было длить ее сколь угодно, молчать озадаченно и синхронно, выжидать, кто первым промолвит: «Мда-а». Мысли и чувства легко превращались в звук, мысли и чувства легко находили отклик. И не надо было заглядывать другому в глаза, а уж если разговор не цеплял, можно было, зажав трубку плечом, заняться делом, можно было, поддакивая, помочь бабе Тасе с компрессом – и вдруг ворваться в монолог, как гуси в кадр, резко перебить, уставить глазом, нацелить клюв.

28

Заплутав в чмутовском романе, я теперь выхватывала лишь то, что возбуждало. Пролистала психоделические мистерии, так и не выяснив, наяву или в наркотической фантазии писатель Омутон видел, как мастурбирует проститутка. Заприметила девушку, с которой герой *собрался заняться английским*, это могло бы меня увлечь, но интрига, проводив гостью за дверь, поплелась на кухню и выдохлась в подробном, скучном разговоре с женой, жену Омутон так и звали – Лариса.

– Но Лариса же так не говорит!

Я соскочила с кровати, я наконец-то завелась по-настоящему. Вытащила из тумбочки ящики, встряхнула на пол содержимое.

– Иркин, ты решила устроить оргию?

Лёня отложил книгу и озадаченно разглядывал кучу, в которой вперемишку с письмами валялись эротические игрушки: кольца, кисточки, гели и мази, щипалки и щекоталки, купленные в екатеринбургском секс-шопе. Я забрела туда когда-то в поисках памперсов, это был даже не *шоп*, а *департамент*, попросту отдел в *комке*, комиссионном магазине «Нефертити».

Настоящий секс-шоп я впервые увидела в 91-м, в Германии, когда гостила у друзей. Славка повел Лёничку на традиционно мужскую экскурсию. Мы с Галкой топтались на улице. Тут же, на газонной траве, вьетнамцы разложили порнокассеты с яркими заплатками на обложках. Подойдя ближе, мы содрогнулись: эти цветные бумажки, будто фиговые листочки, скрывали срамные места – так еще непристойней! – и, дружно выпалив: «Ну что, зайдем?» – мы ринулись за запретную дверь, как в майский разлив на байдарке. Когда-то мы с Галочкой потерялись в походе, попали в снежное марево и, упустив русло, крутились в лодочке среди елок, искали своих, нанимали в деревне моторку. Грести под снегом было проще, чем проникать в глубь секс-шопа, – нашу лихость вмиг смыло волной конфуза. Отвести глаза было некуда: прямо у входа распахнулись журналы с иллюстрациями к будущему роману Чмутова, а вдоль стенок, на стеллажах, рядами выстроились фаллоимитаторы. Наши мужья рассматривали витрину. Пожилая немецкая пара увлеченно беседовала с продавцом. Они что-то обсуждали, шутили, тихо посмеивались. Казалось, выбирают машинку для стрижки газона и беспокоятся, пойдет ли на влажную траву.

– Иркин, да что ты ищешь, там давно уж срок годности истек.

– Истек... Ты, Лёничка, спи, не беспокойся.

Лет пять назад в магазине «Нефертити» я разыграла из себя пожилую фрау и так же деловито разглядывала каталог, и так же спокойно шутила с продавщицей, а потом совершенно по-русски накупила всего подряд, целую кучу так и не освоенных погремушек, только затрудняющих путь к удовольствию.

Я извлекла из-под вываленного хлама тетрадку и устремила к двери.

– Да куда ты?

– Спи-спи... Я сама.

29

Сколько я себя помнила, я проживала свою жизнь для того, чтобы о ней рассказывать. Порой меня слушали вежливо, порой с интересом, иногда говорили: «Тебе надо писать», – но кто бы на моем месте отнесся к этому всерьез! Я писала письма – своему научному руководителю и друзьям, бывшей студентке и любимой учительнице. «Нашла способ уничтожать рукописи», – фыркнул как-то Майоров, узнав, что мой шеф выбрасывает все письма. С шефом я переписывалась с тех пор, как уехала из Москвы, он был рассказчиком похлеще меня, да мало ли было рассказчиков похлеще! Сама я просто любила зайти откуда-то сбоку, сделать петлю, сменить направление, чтоб все уже думали, что я заблудилась (так порой и случалось в перво-родной моей болтовне), – тем эффектнее было вынуть зайца из рукава, обнаружить рояль в кустах, внезапно вырулить на моторке.

Несколько лет назад я посмотрела «Криминальное чтиво» и вдруг испытала острую зависть, разъедающую и жгучую. Долго пыталась понять, что меня гложет: я не имею отношения к кино, не пишу сценариев, я вообще ничего не пишу! Но какие шикарные диалоги! И в устном жанре так историю не запутаешь. Я взяла ручку, чтобы выстроить схему событий, но неожиданно принялась передразнивать речь соседки, тасовать эпизоды. Стесняясь этого увлечения, прятала тетрадь в тумбочку, раз в год что-то в ней поправляла – и вдруг Чмутов распалил меня не на шутку. До пяти утра я набирала текст на компьютере, не зная, зачем это делаю: «Лариса так не говорит, люди вообще так не говорят, да ведь Лариса же и сказала, что я должна заниматься творчеством!»

30

Все рухнуло. Меня не позвали на «Дилетантские танцы». Я случайно позвонила Майорову, Марина сказала, что он ушел.

– На «Дилетантские танцы». Там же Пьюбис танцует, и Чмутов, и эта его знакомая. Я не пошла, нет, сомневаюсь, что будет что-то хорошее. Тем более сейчас пост, а завтра в Каменск.

Завтра в Каменск! Меня не звали ни сегодня, ни завтра. Что ж такое, меня без Лёни никуда не зовут! Лёне пачками шлют приглашения, он выбрасывает их не советуясь. Зарываюсь в плед в кресле у телефона. Бьет озноб, обидный, весенний, когда знаешь, что эта весна не для тебя. Не могу сдвинуться с места, злюсь на весь мир. Через час мне звонит Майоров.

– Да не переживай ты, у Фаины в передаче все увидишь. Лера Гордеева танцевала, Диану-охотницу, чуть юбкой фотик мне не снесла. Такой темперамент в хилом теле! Ключицы торчат, а кажется, схватит и унесет. Чмутов разделся до трусов. Да позорненько: фламенко в белых трусах, если б хоть черные были! И связочный аппарат у него слаб.

Я молча радуюсь: позорненько. Пытаюсь узнать насчет Каменска.

– Ты про завтра? Поезжай, если хочешь. Автобус от площади, но как с местами, не знаю, нас-то Нетребко позвал.

Все поедут: Майоровы, Чмутовы. Так мне и надо! Мне же нравилась телефонная трубка, мне было достаточно лишь разговоров...

Я хватаю трубку, едва она вздрогнула, – я сама вздрагиваю в тот же момент:

– Ты так быстро ответила, Иринушка. А поехали завтра в Каменск? На похороны спектакля?

Завтра в Каменск?! Я что-то мычу, скрывая радость, не вникая в смысл его слов.

– Хрен его знает, что происходит с искусством. «Золотой слон»! Восемь спектаклей покрыли весь город, теперь хана, бродвейский принцип, спектакль дезафишируют. А ты только представь, что такое похоронить слона, сколько денег-то нужно, этот слон в полтеатра размером! Нетребко хочет, чтоб хоть мы напоследок увидели.

Хорошо, что он не видит мое лицо. Я ликую, как в детстве, когда впервые, в Крыму, увидела африканца, и тут же осознаю, что не смогу поехать: Лёлю не с кем оставить, и надо закрыть больничный.

– Поехали, Иринушка, будет славно. Все ты сможешь, у тебя же такая воля! Я подсмотрел твой гороскоп. Ну с кем ты Лёлю обычно оставляешь?

Он проявляет заботливость и даже осведомленность, неожиданную для человека без трудовой книжки. Я вдруг признаюсь, что написала что-то такое, не знаю, как лучше назвать, не рассказ, не сценарий... Текст, подсказывает он мне, хорошее слово – текст. Я говорю про Тарантино, прямую речь, диалоги и Омута, он ухватывается за вьетнамские заплатки и пытается их сорвать. Я пытаюсь держаться в образе невозмутимой фрау. Мы болтаем долго-долго. Он в удивительном расположении духа, энергичном и щедром. У него какой-то *черноземный* голос.

С утра мчусь в поликлинику, отвожу Лёлю к маме, наряжаюсь в новое пальто и английскую шляпу, с бархатной лентой, с большими полями. Я привезла ее из Лондона, в таких, наверное, ходят на скачки. Я надела эту шляпу в Каменск. До главной площади идти пять минут, сбор у памятника Ленину, по дороге покупаю розу. Майоров, увидев меня, ахнул и поставил к старому тополю, чтобы сфотографировать. Он не догадывался, что я пришла на свидание.

– Чмутовы пошли за пивом, в Дом актера, – сообщил он небрежно, – Игорь сказал, ты поедешь, но мы не поверили.

Как же долго целился Майоров в мое лицо, и как напряженно я вглядывалась в Дом актера – он так никогда и не показал мне этот снимок.

Автобуса не было, Чмутова не было. Я прохаживалась со своей розой у памятника. Наконец герой вышел, очень решительно, за ним две дамы. Странная троица. Чмутов в длинном пальто – с его ростом лучше бы не носить такое. На Ларисе красный берет и просторные клеши – издали кажется, будто Лариса в матроске. С нею эсерка в кожаной куртке с ремнем, в кожаных брюках, заправленных в сапоги, русые волосы забраны под косынку. Чмутов, увидев меня, вскинул брови, поставил глазами акцент:

– Привет, Ирина!

И тут же отвернулся, заголосил:

– Господа, водки никто не взял? Очень хочется водки!

Вчера про водку речи не было! С женским злорадством замечаю, что Ларисе не идут румяна. Солнце слепит, ветер полощет ее клеши. Лариса снова выглядит несчастливо и немолодно. Чмутов снова небрит и несвеж. Исподтишка разглядываю эсерку. Щеки бледные, под глазами круги, алая помада. Будто всю ночь теракт готовила.

– Чмутовская подружка, – поясняет Марина Майорова. – Лера Гордеева, она тоже писательница.

Вчера он не говорил про подружку! Лера Гордеева, у которой в гостях подрались Родионов и Чмутов? Я и не знала, что она *тоже пишет*. Вчера он услышал мой SOS и позвонил, пригласил.

– А с Ларисой что?

– Ты тоже заметила? Лариса расстроена, Игорь восемь лет не пил и снова начал.

31

Подъезжает автобус, мест не хватает, мужчины уходят в Дом актера за стульями. Мы с Мариной садимся вперед, за нами Лариса и Лера. Принесенные стулья расставляют в проходе, все устраиваются в радостном оживлении, и, словно заботливый гид, суетится режиссер Федор Нетребко.

– Ну что, все в сборе, можно ехать? Все знают, что спектакль начнется в восемь?

Вот это да! – я обещала в восемь вернуться. Позвонить уже не получится, автобус тронулся. Разглядываю пассажиров: суетливый, с бородкой и пузиком, – главреж местной драмы, Розенблюм, он взял с собою двоих детей. Джемма Васильевна, чиновница от культуры. Неизвестный режиссер из Питера, весь в черном, словно состарившийся студиец. Фотограф Поярков с новой женой, прелестной восторженной женщиной, по слухам, она уже бабушка, дай бог каждому так сохраниться. С Аллой Поярковой я познакомилась на той выставке, где впервые разглядела Чмутова. Она сама обратилась ко мне:

– Встаньте рядом, скажите, что вы чувствуете? Куда вы смотрите? – а я как раз смотрела на нее: темные волосы приспущены на уши и собраны в узел на затылке. Гибкая шея, тонкие запястья, платье в талию. Красота гимназистки, литературная, русская. – Вы чувствуете, откуда идет энергия? В этом углу, вот здесь, ближе! От той чудесной картины – вы ощущаете?

На картине был изображен ствол дерева, я не помню, называлась картина «Сосна» или цвет вызывал такие ассоциации: теплый рыжий цвет, даже у корней, – таких сосен вообще не бывает! Муравьи черненькими штрихами. Лёня пошел узнавать цену. Я что-то промямлила, Алла настаивала:

– Признайтесь, о чем вы думаете? Только искренне!

Признаться искренне я не могла: я думала, что в углах нашей квартиры скопилось множество картин, картины падают, Майоров их реставрирует, а Диггер может и ногу рядом задрать.

– Я думаю, как мало в нашей жизни живой природы.

Мы выезжаем из города. Голые деревья ждут тепла. Стволы живые, ветви доверчивые. Проезжаем поля, погружаемся в сумрак елок. *Девочки* попарно разговорились, а в хвосте разминается мужской клуб с пивом и гоготом: картавит Розенблюм, частит Майоров, зловеще басит режиссер из Питера, но поверх всего этого я слышу чмутовский баритон, возбужденный, какой-то нездоровый. Как гнусавый кондуктор, он вдруг возвещает на весь салон:

– Слышь, Ларча?! Мне Ирина Горинская вчера рассказала, что я детей своих ставил на карниз, бабу шантажировал, побуждал к сексу!

Кровь ударяет мне в голову, обжигает стыдом, я снимаю шляпу. Не знаю, опровергать или нет – про карниз мне сказал Майоров. Значит, вот чего нужно с ним опасаться! Осторожно поворачиваюсь к Ларисе.

– Бред какой, – отвечает *Ларча* отчетливо, – мы ведь, как въехали, первым делом решетки поставили.

– Конечно же бред, – соглашаюсь я тихо, возвращая шляпу на голову, – зато какая легенда...

Делаю вид, что никто не оконфузился, трещу с Мариной. Бесперебойно, как повелось с того дня, когда Майоров привел ее к нам, хрупкую, скромную, сильно накрашенную студентку. Андрей регулярно приводил в наш дом длинноногих девчонок, тогда-то я и узнала, что все *мое* вышло из моды: талия-бедрa, небольшой рост и ладные, как у цирковых ассистенток, ноги. Я была доцентом в декретном отпуске, кормящей матерью, обрастающей после стрижки под ноль. Марина училась на втором курсе СИНХа и работала в канцтоварах. Я разглядывала, как теперь красятся: очень темным, до самых бровей. Марина сидела в уголке на краешке

стула, Майоров бросался к ее ногам и жаловался, что *эта красавица* его не любит. Красавица поджимала колени и теребила тесемочку на кармане.

– О, я помню, – опознала она мою футболку, – у нас в поселке продавали такие! Это ведь с московской Олимпиады?

Я прикидывала, сколько же лет моей футболке, и пыталась найти верный тон. Пекла пиццу с тушенкой, что-то рассказывала, смешное и про байдарки, я была уверена, что нравлюсь гостю. «Я была от тебя в таком ужасе», – призналась через несколько лет Марина.

Андрей с задней площадки пролез к нам через стулья и стонет:

– Чмутов сказал, что у вас вчера был секс по телефону.

– Точно, был, – соглашаюсь. – А что ты волнуешься? У Лёнечки неприкосновенность, а я взрослая тетя.

Я слишком хорошо помню злые майоровские подачи. Он уговаривал Лёню креститься, а меня спрашивал:

– Вот что тебе нужно для счастья?

А я тогда так хотела, чтоб хоть кто-то спросил! И стала перечислять:

– Москву, друзей, шефа с задачками, байдарочные походы...

– Да как же ты, жена поэта, вообще не думаешь о его стихах?! Ирина, я ведь не зря спросил! Зло должно быть сытым, накормленным.

Немного позже он объявил меня *хорошим рассказчиком*.

– Ты просто не догадываешься, на что он способен, – жарко шепчет Майоров, забираясь под поля моей шляпы. – Ему так и хочется всех облевать, он же вчера мухоморов наелся.

Так вот оно что! Тот сочный голос, та радостная энергия, что перла вчера из трубки, были прорывом в нашу жизнь живой природы?

Автобус делает остановку, народ вываливается подышать и размяться. Розенблюм покупает у бабушек молоко, Чмутов уходит за водкой. Лариса с Лерой Гордеевой курят.

– Господа, кто желает водки? О, пардон, здесь же дамы в шляпах. Позволь, руку подам, ты, матушка, сердисься, нет? На меня же нельзя сердиться. Я такое видел вчера!.. Теперь вот водочки выпью, полегчает. Какое слово, а? Поле-«гэ»-чает. Розенблюм-то, оказывается, мой ровесник, молочко пьет, режиссер из драмы! Что люди с собой делают, а? Глянь, глянь, как местные косят глазом, какие лица! Что они в нас видят, как думаешь?

Он смеется, я замечаю, что люди в ватниках и правда разглядывают наш десант. Им есть на что посмотреть. Три городские красавицы разного возраста: Алла Пояркова, Марина Майорова и чмутовская Лариса. Седой фактурный Розенблюм. Демонический питерец. Пожилые интеллигентки в массовке. Можно подумать, здесь снимают кино. Поярков с Майоровым обвешаны фотокамерами. Мы с Лерой, каждая в своем образе, она – террористка, я – жена губернского депутата.

32

Приезжаем в Каменск. Видим храм на горе, реку и завод, за рекой у леса панельные районы. Внезапно понимаю, что именно в Каменск, в филиал института, меня на прошлой неделе посылали в командировку, но я решительно отказалась, ведь мне было не с кем оставить *бабушку и троих детей!* Почему-то не разбегаемся, а бредем за Нетребко в бывшее здание драмтеатра – снаружи облупленное, как жилой дом в Венеции, внутри – облупленное как снаружи. Здесь пусто, сыро, немного жутко, здесь гулкие коридоры и лужи на полу. Сквозь немытые стекла пробивается дневной свет, тусклое электричество тоже присутствует, и радиаторы исправно греют влажный воздух. Майоров, в своем коротком пальтишке, надел мою шляпу и стал похожим на мушкетера, он рвется вперед. Я замедляюсь и отстаю, в пустоту мне влиться труднее, чем в толпу, в пустоте труднее затаиться.

Когда-то мы с Лёней с черного хода проникли в театр Моссовета, там давали «Царскую охоту» с Тереховой, билетов не достать и не поймать. Перемахнув через забор на задах театра, как партизаны, пересекли заснеженный двор, пробрались за дверь, узким коридором вышли на свет лампы и неожиданно оказались в мастерской, где склонился над верстаком старый Джузеппе, он был в очках и клетчатой рубашке. Я испугалась: *выгонят*. Но мастер вообще не обратил на нас внимания! Только что в поисках лишнего билета бросались ко всем, кто был без пары, ко всем останавливающимся машинам, к каждому, кто засовывал руку в карман, вместе с другими окружали женщину, отбивавшуюся словами: «Ребята, да у меня всего один!» За стенами театра ловили удачу, а здесь... Здесь пахло стружкой, повизгивал рубанок и создавалось волшебство. Здесь время тикало по-другому. Мы вышли на лестницу, повесили свои курточки в актерском гардеробе, рядом снял плащ красавец Арамис, тот самый, из «Доживем до понедельника». Последовали за дамами в тяжелых пудренных париках, в екатерининских платьях. Одна из них обернулась, щелчком выбросив сигарету: «Ну что, на сцену?» Мы опомнились и кинулись искать выход в зал.

– *Только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит...* Гениальная Ахматова, гениальная... Пусто-то как, а, Иринushка? Гулко-то как... – Он нагнал меня в галерею с помутневшими зеркалами, остановился, слушая тишину.

– Господин Чмутов! – восторженно, откуда-то с лестницы трубит Розенблюм, словно гном из ТЮЗа. – Тут в кабинете у главного гриб вырос на потолке! Это ведь по вашей части?

Я поворачиваюсь, ухожу быстрым шагом. Темный коридор ведет к освещенной сцене, где, как античный хор, выстроились все наши. Замечаю в обрамлении моей шляпы ожесточенное лицо Майорова, пробираюсь в общий круг, вижу в центре крест, высокий, из грубых досок, с венцом из колючей проволоки. В полутьме зала усердно крестятся женщина в черном и ее дети-подростки, сын и дочь. Мы прервали их песнопения.

– Деятели культуры из Свердловска, – представляет нас Нетребко. – А это местные баптисты.

Женщина, светло улыбаясь, кивает. Мальчик, взбежав к нам на сцену, приглашает зайти чуть позже: после баптистов здесь будет кунг-фу, после кунг-фу азербайджанское землячество. Джемма Васильевна интересуется расписанием служб и порядком аренды помещения. Девочка, прижавшись к матери, разглядывает дочь Розенблюма. Пахнет плесенью. Розенблюм с режиссером из Питера обсуждают покрытие сцены, у них прекрасная дикция, в зале хорошая акустика. Чмутов играет со словом *покрытие*. Я кожей чувствую, как напрягся Майоров.

– Крест сами делали? – набрасывается он на мальчика. – И венок из проволоки? И гвозди в ладони Христа ты бы вбил?!

– Андрей, – не выдерживаю я, – отдавай мою шляпу!

Мы рвемся на солнце, на воздух. Сзади захлебывается Алла Пояркова:

– Это так трудно – первый раз поднять руку на крест. А пойти на исповедь, к причастию... Девочки, я сейчас читаю Ветхий завет, там такая жестокость, все эти завоевания. Я жду с нетерпением, когда мудрость начнется. Ирина! У вас все детки крещеные?

Машинально киваю – мол, тоже жду с нетерпением, когда мудрость начнется.

33

Алла выбегает с фуршета чуть не плача:

– Что случилось с Игорем? Он был такой хороший!

– А что с ним случилось? – втайне радуюсь, что сегодня конфузиться не мне одной.

– Они с Андреем совсем стыд потеряли, – Марина, смеясь, глядит на Майорова.

– Да, – гордится Майоров, – мы распоясались. Он говорит, что у Джеммы клитор пять сантиметров, а я считаю, все десять!

Теряюсь:

– И вы оба знаете сколько?

– Так это ж баба еще из советского выставкома, – успокаивает меня Майоров, – у нее яйца, как у коня маршала Жукова! Бронзовые.

В растерянности оглядываюсь на Марину. Она улыбается:

– Он почти не закусывал, сейчас же пост. Я уж и сама на него ругаюсь.

Интересный вопрос – границы целомудрия. Почему на Майорова Алла не сердится? В зрительном зале набрасываюсь на Чмутова:

– Что ж ты делаешь с Аллой Поярковой?! Разве можно разрушать этот мир? Еще и сплетничаешь как баба!

– Да ведь мне-то все можно, я писатель. Я, Ирина, может, и есть баба. Мы ж не знаем, кто мы есть, пока не умрем.

В антракте он ругал спектакль, так увлеченно и яростно, что все разбежались. Он остался один посередине фойе, я насмешливо посочувствовала:

– Ну что, Игорь, горе от ума?

Он вдруг успокоился, посмотрел усталыми глазами:

– Я выпил пятьсот граммов водки. Скажи, что здесь может нравиться? Почему это называется театром? По-моему, это цирк.

Я объясняю, что больше люблю цирк, чем неслучившийся театр: шест у папы на лбу, мальчик лезет, а располневшая мама в боа и бикини не сводит с мальчика глаз... Надо бы как-нибудь рассказать про мой последний поход в Большой.

34

Завершив командировочные дела, я продлила гостиницу до воскресенья, семья потерпит – в субботу вечером я собираюсь в Большой театр. Друзья проводят выходные за городом, я иду одна, мне это нравится. Надеваю высокие каблуки: здесь близко, можно не спешить. Цок, цок, цок. Выхожу из гостиницы, поднимаюсь на Красную площадь. Нищий мальчик все еще на работе. Бьют куранты – есть еще полчаса. Мне нравится останавливаться в «России»: Красная площадь в моем дворе, Большой театр в соседнем. Поворачиваю направо – вот и он.

Когда-то в Перми нас воспитывал Театр оперы и балета. Почти все интеллигентные девочки учились на фортепиано, и уж точно все без исключения посещали оперный театр. Надевали в фойе вторую обувь, расправляли перед трюмо бантики и воротнички, искоса наблюдая, какое платье у девочки рядом. А потом поднимались по лестнице и теперь уж смотрели прямо, где зеркало во всю стену, и мамы в последний раз поправляли прически, и папы в последний раз вынимали расчески. Заходили в зал, усаживались в бархатные кресла, разворачивали программку, читали вслух либретто под какофонию оркестра. Предвкушение, взаимонастройка... Вот уже гаснет люстра, и дирижер пробирается к пульту. «Ох, то-то все вы девки молодые, посмотришь, мало толку в вас!»

Мне показался слишком вычурным одесский театр – там царствует архитектура – и неуютным Большой – там твердые стулья и ярусы, с которых не видно. И Гранд-опера, красивый вокзал, где в ложу направляются как в купе, стремительно, не сняв шубу, – и Гранд-опера не затмил в моей памяти пермского оперного.

Я спускаюсь в подземный переход, прохожу мимо мыла и колготок за аквариумным стеклом. Вспоминаю, как на первом курсе мы с подружкой отстояли целую ночь за билетами, зимой, в переходе у Александровского сквера. Нам с Римкой казалось небывалой удачей попасть статистками в ночную очередь. Каждому, кто стоял, полагалось по четыре билета, но половину следовало отдать – *исполнителям и солистам*, ломщикам очередей из Физтеха. Нас поставили с вечера, выдали номера, всю ночь очередь не двигалась, ноги мерзли, мы прыгали, пили чай из термоса и следили, чтобы не пропустить переключку. Под утро, когда *ломали очередь*, нас чуть не смели, едва не затоптали. Но мы удержались, мы все же выгребли к заветному окошку и выудили из лунки свой улов. Билеты достались с двойным оттиском: название спектакля и «Место неудобное». Второй штамп почти полностью определял впечатление, я бы сделала его заглавным: «Место неудобное – Царская невеста» и «Место неудобное – Лебединое озеро». «Царскую невесту» слушали в Большом, вид сверху и сбоку, весь спектакль на ногах. Впечатление все же осталось – русская опера, хороший оркестр. Но «Лебединое» во Дворце съездов... Мы видели лишь носки балетных туфель, когда лебеди приближались к краю сцены. Зато в буфете оказались с делегацией иностранцев. Боже, сколько они всего не тронули – даже ананасы, даже бутерброды с салями! Мы съели все это глазами, а взяли пустяк: один банан на двоих и по апельсину.

Выйдя из перехода, я попадаю в толчею среди подсвеченных колонн.

– Девушка, вам лишний билетик?

– Лучшее место, рядом с царской ложей...

Один произносит загадочно, другой полузадушенно, но каждый значительно, словно бригада «скорой помощи».

– Мне нужен ближний партер, середина, – уверенно говорю я и знаю, что найдется.

У нас было множество способов попасть на нашумевшие спектакли: лишний билетик, неустраиваемая бронь, служебный вход, спекулянты, поссорившиеся парочки... На Таганку и в Моссовет, в Современник, МХАТ и Вахтанговский, в Ленком и на Малую Бронную. На

галерку, приставной стул, дополнительный ряд, на боковое или случайно незанятое в партере место. В Большой хотелось прийти по-другому. Может быть, даже со сменной обувью.

– Да зачем вам партер? Берите амфитеатр. Звук идет в амфитеатр.

– Бельэтаж, ложа бельэтажа. Девушка, зачем вам партер?

Зачем мне партер? Я хочу и видеть, и слышать! Как в Перми, как в детстве.

– Минуточку, женщина, не отходите. Вован, у тебя был партер? Нет, женщина, уже нету.

Это валютка, берите ложу. Рядом с царской.

Ложу я уже брала – на «Анюту». И балет из телевизора, и такая же видимость.

– Девушка, вы партер искали? – скороговоркой произносит в воротник немолодая милосердная москвичка, ей все еще мерещатся стукачи. – Только давайте быстрее, я с иностранцами.

Она со шведами, но Полтавы не будет, сегодня – «Каменный гость».

35

В антракте у входа в буфет ко мне подходят две подружки. Малиновые губки и черные с золотом платица.

– Извините, мы с Юлей сверху вас заметили...

Они заметили мое красное платье. И рыжую голову.

– Сверху так плохо слышно, не разобрать слова, когда поют. Вы не расскажете, что ему нужно от этой Анны?

Я уже слышала подобный вопрос. Тридцать первого декабря, год легко уточняется. Мы отмечали у родителей Новый год – Лёня, я и сестра Лариска, уже студентка. Праздник *подступал к пермской земле*: мама протирала посуду, я утюжила блузку, папа в старой цигейковой шапке и рукавицах двигал в углу наряженную елку. По телевизору в новом фильме Рязанова жандармский офицер домогался юной девицы.

– А чего он добивается? – спросила Лариска, заноса в комнату два салата.

Спросила – и будто щелкнула выключателем. Повисла тишина. На полпути остановилась елка. В родительском доме не обсуждались такие вещи! Папа носил не кальсоны, а «трусики с рукавами». Говорили не «черт», не «псих» – только «рогатый», только «умалишенный». И не «беременная», а «в интересном положении».

– Вы почему молчите?

– А чего мужчины добиваются от женщин? – ответила я с интонацией старшей сестры.

– Да зачем?

– Мужчины *от этого* получают удовольствие.

Рюмка под маминым полотенцем закрипела от чистоты. Лёня затих рядом с папой под елкой. Лариска не успокоилась.

– А *он* чего хочет?

Папа не выдержал:

– Он хочет с ней переспать!

– Борис, как ты можешь! Такое! При детях! – у мамы сорвался голос. С елки сорвалась стеклянная сосулька, тихо звякнула, скромно разбилась. Мама побежала плакать в спальню.

– При каких еще детях?! – папа в шапке и рукавицах метнулся за мамой. Мы засмеялись, я тут же вцепилась в Ларку:

– Что тебе надо? Чего ты не понимаешь?

– Да все я понимаю! Я не следила, думала, там интрига, может, он опорочить ее хотел...

Девушки с малиновыми губками трещат наперебой:

– Чего ему нужно от этой Анны?

– Извините, мы не купили программку. Чего добивается этот... как его?

– Дон Гуан, – подсказываю я, – это Дон Гуан, – и замолкаю в уверенности, что девочки знают отгадку. Юбилейный год, повсюду Пушкин. Но им не ясно, почему я молчу. – Дон Гуан – это Дон Жуан, – перевожу я и собираюсь пройти в буфет, но девочки собираются слушать дальше. – Дамский угодник, – поясняю.

– Он хороший?

– Ну как вам сказать. Он соблазняет женщин. Как Казанова! – радуюсь я находке: про Казанову пел «Наутилус Помпилиус», а потом Валерий Леонтьев, и за стеклом в переходе продают *упаковки*...

– Так он плохой!

– Он все-таки поэт, – вспоминаю я из Машиного учебника, – он песню сочинил, ту, что поет Лаура!

– Его любовница? Ах вот зачем ему нужна Анна: он задумал бросить Лауру!.. Он подлец.

– Он любит женщин, – тяну я свою линию. – Пушкин ведь тоже был волокитой. И он бесстрашный, вы ведь помните, как погиб Пушкин.

Подмосковные продавщицы, решаю я. Настя и Юля. У них, наверное, распространяют билеты. Тихий культурный магазин. Канцтовары, проявка фото пленки, сериалы в обеденный перерыв. Девочки ждали понятных мотивов: опорочить, завладеть наследством. Ссылки на Пушкина неуместны – их не волнует судьба сценариста.

– А вы, девочки, сами чем занимаетесь?

– Мы с Юлей учимся в Академии управления, – спешат обрадовать меня девочки и, приветливо распахнув глаза, рапортуют едва ли не хором. – Мы москвички и очень любим театры, особенно Большой! У нас сейчас преддипломная практика.

Я успеваю ухватить пирожное и коктейль – исключительно для ритуала, возвращаясь в зал и обнаруживаю московских студенток в партере.

– Настя заметила, рядом с вами не занято. Вы не скажете, как все кончится? Плохо? Он ее бросит?

– Нет, к ним явится Командор... – я провоцирую минуту молчания. Весь спектакль посреди сцены высился жуткий монумент. – Ну, статуя, памятник ее мужу! Каменный гость.

Девочки вспыхивают догадкой:

– Так это мистика?!

Я развлекаю забавным сюжетом попутчицу в самолете. Она слушает хорошо: где нужно смеется, где нужно вздыхает. Потом говорит:

– Вы понимаете, что из этого надо сделать рассказ? У меня есть подруга, журналистка, я ей перескажу, вы ведь не возражаете? Получится очень смешно!

36

...Вот и все. За окошком туман и тьма. Лучше и не гадать, во сколько вернемся. До часу ночи наш автобус развозил по домам местных артистов, теперь мы едем среди спящего леса. В салоне горит желтый свет, неяркий, какой-то старомодный. Неутомимый Розенблюм горланит песни, ему вторят Нетребко и этот в черном, из Питера. Уже два часа ночи! Автобус плавно покачивается, я прикрываю глаза и итожу свидание: короткий миг наедине среди зеркал, недолгий разговор про цирк в театре, уже привычный комплимент *цвет глаз и платья* и насмешливый выкрик – «Браво, Иринушка, браво, бис!!!» – когда я выбежала на сцену, чтобы вручить режиссеру розу. Он ничего не спросил про мой текст. А подлость с *карнизом* считать за знак внимания? С меня вмиг слетает дремота. Проверить бы, сердится ли Лариса, они с Лерой весь день держались вдвоем и сейчас сидят рядышком позади нас. Оборачиваюсь к Ларисе, встав коленями на сиденье, и сообщаю, что ее предсказания сбываются, я что-то впечатала в свой компьютер, я *занялась творчеством*. Лариса отвечает мирно и мерно, меня смущает внимательный Лерин взгляд, мои речи предназначены для нее. Лера охотно подключается, говорит остроумно и точно, наш разговор начинается с ее будущей книжки и быстро сводится к анекдотам про общую знакомую. Я с головой погружаюсь в этот треп, я так и въезжаю в ночной город: стоя на коленях спиной вперед, поправляя сползающую на глаза шляпу.

Автобус кружит и кружит по улицам, пока шофер не сообщает с безразличьем крупье:
– Я ведь город не знаю, я – каменский.

Чувство ответственности тут же переполняет всех мужчин и старших женщин. Никто не ищет оптимальный путь. Все соревнуются в благородстве, составляют *списки льготников* и сходятся на том, что детей – детей Розенблюма! – в первую очередь. Детям четырнадцать и пятнадцать, дети безмятежно спят, их отец наконец-то уgomонился, но мы выписываем первую длинную петлю по городу. Доставив Розенблюмов, начинаем развозить тех, *кому далеко ехать*. Это похоже на карманную игру «закати шарик». Путь наш подобен траектории шарика: едва приблизившись к центру, мы тут же скатываемся на окраину. Заправляет всем Джемма Васильевна, она останется на посту, пока стулья не вернутся в Дом актера. Я живу рядом с Домом стульев, мне остается лишь завидовать тем, чья луза оказалась по дороге. Уже вышли Андрей и Марина, пообещав позвонить Лёне, вышло трио: Чмутов, Лариса и Лера... В полчетвертого лжестудиец басит, что ему в пять утра ехать в Питер.

– Потерпите, еще женщин не развезли, – стыдят его, – Джемме Васильевне вообще на Уралмаш!

– Что-то я не припоминаю такого рейсика. Вы уверены, что самолет ровно в пять?

Я смотрю на часы и пугаюсь, что у деятелей культуры не все в порядке с хронометражем. Точь-в-точь как у моей Зойки! Начинаю нервничать:

– Регистрация уже идет! Выходите, ловите машину. Вы опоздаете на самолет! Ловите машину, здесь дешевле, чем в Питере.

– Да мне на поезд! – не выдерживает он моей заботы. – Я тут рядом живу. Просто обидно уезжать.

Значит, не такой уж он и питерский. Интересный мужик. Может, женщина ждет его? Джемма Васильевна не сдается:

– Возьмите вещи, мы подождем. Мы поедем мимо вокзала!

Он вынужден расколоться:

– Пять часов – это по-московски! По-местному в семь. Просто, прошу, доведите, здесь совсем близко.

Наш автобус, как дилижанс мопассановской «Пышки», вмиг заполняет атмосфера презрения. Мы подвозим питерца молча, холодно принимаем его «мерси» и вновь направляемся в центр. Я решаюсь:

– Теперь высадите меня.

– Позволь, Ирина, – не соглашается Нетребко, – я отвезу тебя лично, со стульями.

– Не надо со стульями! Я пройду – здесь всего-то квартал, и у нас охраняемый двор.

– Я никогда не прощу себе этого. Заворачивай, Вася!

В нашем дворе еще с Нового года мигает гирлянда. Замок в калитке выломан, в будке спит охранник, в его окошке электрический свет и остывающий чайник. На щите горят буквы «Охранное предприятие ЕГЕРЬ». В подъезде темно, безопасно и грязно, здесь живут пенсионеры и алкоголики. Федор Нетребко, поставивший «Золотого слона», провожает меня до квартиры, на верхний этаж. Нам приходится перешагивать через лужи. У дверей я благодарю его за спектакль, он оживает:

– Еще бы спонсоров найти, на гастроли! Может быть, Леонид? Там с декорациями непросто...

В спальне подозрительно тихо. Пробираюсь на цыпочках.

– Ну, Ирина Борисовна, ты даешь...

– Как ты? Волновался?

– Пока Майоров не позвонил. Мы-то нормально, а Лёлька закашляла. Твоя мама звонила: не пропустите пневмонию.

– Почему пневмонию?

– Ну ты что, маму свою не знаешь? Ложись скорей, я уснуть не могу.

В понедельник в школе я издали замечаю, что у Чмутова на щеке алеет шрам – молодым кровавым полумесяцем. Он упреждает мой вопрос речитативом вместо обычного распевного приветствия:

– В темноте навернулся на железяку – вишь, как кстати: мне как раз на телевидении выступать.

Но в передаче шрама не видно, в передаче «Мой Пушкин» он *играет арана*, вымазав черной краской лицо и руки.

37

Что за роман я затеяла? Герой не влюблен, влюблена героиня, но *она себя бережет*. Перебирает словечки, как старушка воспоминания, подглядывает в чужие книжки, как подросток. Кому это интересно? Даже подруге нечего рассказать: «Людочка, сегодня будет один писатель по телевизору...»

Людочке нет дела до писателя. Нас с ней свел академический институт, мое первое *место трудоустройства*, но не первый академический институт. Первый был в Москве, в аспирантуре, легендарный ИПМ, в котором рассчитывали оптимальные космические орбиты и исследовали термоядерные реакции – там я делала диссертацию по динамике шагающих аппаратов.

В Институт требовался специальный допуск. Мне пришлось подписать документ «О государственной тайне», – к нему прилагался перечень сведений, не подлежащих разглашению, солидный том с очень мелким шрифтом. Я прочла лишь две строчки, наугад, и запомнила их на всю жизнь: *Ежегодный объем добычи китов и Принципы финансирования советских спортсменов*.

Допуск оформили лишь к середине лета, когда вся Москва задыхалась в асфальтовом пекле. С утра в высотке еще сохранялась прохлада, я проходила к лифту мимо кухни, где Джариат, аспирантка из Дагестана, готовила плов.

– Куда это ты собралась, дорогая? – приветствовала она меня. – Встань-ка на свет, к балкону встань, а? Смотри: просвечивает. Ты никому не дашь работать.

– Джариат, там одни академики. И лауреаты!

– Академиков пожалей, а?! Как тебя Лёня отпускает?

Пассажиры в метро обмахивались газетами, а на станциях поддувало. Я выходила и купалась в Москве-реке. Не вытираясь, надевала сарафанчик, с мокрых волос текло по позвоночнику, но пока добиралась до института, высыхала даже носоглотка. Я стояла, распахнув глаза, счастливая и сухая, а очередной лейтенант КГБ сличал мое лицо с фотографией на пропуске. Молодые офицеры дежурили на посту в каждом корпусе, я бегала мимо них – на ЭВМ, к шефу, в конференц-зал и столовую – и не могла не заметить, что нравлюсь им всем.

– Ириша, ты свободна в субботу вечером? – спросил однажды самый старший, лет тридцати, с обручальным кольцом. – Ребята пригласить тебя хотели.

– Я ведь замужем...

Я торопилась отладить свою программу, но мой научный руководитель предпочитал неспешно беседовать за чаем. Сам он был знаменитым ученым, стал классиком в тридцать лет, открыв условия, при которых спутник не вертится как попало, а целится объективом в нужную сторону, – он нашел интеграл уравнений движения. Шеф бывал в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Париже, его участие украшало мировые симпозиумы, он снимал слайды, писал стихи и рассказывал нам о дальних странах. Шеф дружил с аспирантами. Он любил вспоминать, как в Институте отмечали полет Гагарина, и никто даже не сомневался, что лет через десять отметят высадку на Луну.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.